

790

83.315-8

В26

И. И. ВЕКСЛЕР

И. С. ТУРГЕНЕВ  
и  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА  
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

2-е издание



1 9 3 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
ЛЕНИНГРАД -- МОСКВА

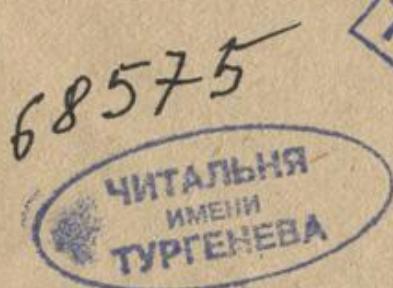
Редактор издания академик А. С. Орлов

**[ПРОВЕРЕНО 2014]**

**[ПРОВЕРЕНО 2009]**

Технический редактор А. Д. Покровский

Ученый корректор А. А. Типольт



(9—18 тысяча)

Сдано в набор 1 февраля 1935 г.—Подписано к печати 28 февраля 1935 г.

Формат бум. 62×94 см.—6 печ. л.—38 450 тип.zn.—Тираж 10 175  
Ленгорлит № 5701.—АНИ № 582.—Заказ № 3837.

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12.  
Отпеч. с матриц в тип. "Советский печатник", Ленинград, Моховая, 40.



И. С. Тургенев.  
(Фотография Шпаковского, СПб., 1850-е гг.).

---

3 сентября (22 августа) 1883 г. в Буживале скончался И. С. Тургенев. 9 октября литература и общественность хоронили писателя в Петербурге. Больше месяца тянулись траурные дни; больше месяца имя И. С. Тургенева не сходило со столбцов газет и со страниц журналов. По всей стране памяти умершего писателя посвящались траурные вечера и общественные собрания, а в день похорон центральный комитет революционной партии выпустил специальную прокламацию. Жандармы сбились с ног и терялись в этой обстановке похорон, приличной разве случаю смерти коронованной особы; движение тела от Парижа до Петербурга отмечалось не только газетными бюллетенями, но и подробными донесениями тайной и наружной полиции.

В течение траурного месяца и долго после похорон о Тургеневе писали и говорили люди всех политических партий, все органы печати, друзья и враги того политического направления, представителем которого был И. С.; естественно, что оценка творчества и деятельности скончавшегося писателя, воспоминания о нем, поправки и дополнения к оценкам и воспоминаниям,— все, что печаталось и говорилось о Тургеневе,— носило печать общественной, партийной борьбы.

Литература о Тургеневе конца 1883 г. и начала 1884 г. еще и до сих пор не обследована с должным вниманием, тогда как историко-литературное ее значение огромно. Именно тогда сложилась та легенда о Тургеневе, которая долго заменяла в истории русской литературы и русской общественной мысли правду о нем, как о художнике, мыслителе и обще-

ственном деятеле,— легенда о Тургеневе, как объективном художнике, как писателе, никогда не вносившем в творчество политических симпатий и антипатий, а мудро, с точки зрения высшей надклассовой и надпартийной правды и гуманности, взиравшего на преходящую злобу дня и примирявшего ее противоречия в своих поэтических творениях.

Легенда целиком создана либеральной печатью и либеральной критикой—и начала слагаться тотчас же, как только П. Л. Лавров рассказал в Париже о связях Тургенева с русской революционной эмиграцией, а орган крепостнической реакции — „Московские ведомости“ — подхватили рассказ Лаврова для борьбы с либерализмом. Подчеркивая все время высказывание самого писателя, что он был и оставался „постепеновцем, либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, принципиальным противником революции“,<sup>1</sup> либерализм к этому высказыванию присоединил легенду о широте гуманного взгляда умершего писателя, об объективизме его творчества. „Если бы все так чувствовали и мыслили, как чувствовал И. С. Тургенев“, говорил в надгробной речи ректор С.-Петербургского университета А. Н. Бекетов, „то мирное течение наших судеб по пути к прогрессу не было бы прерываемо ни на один миг, ибо его произведения отличаются спокойствием, редкою объективностью и здравомыслием в оценке всякого рода социальных явлений“.

Мотив художественной объективности Тургенева сделался лейтмотивом всех высказываний о нем литературы и общественности, всего спектра ее цветов и оттенков слева направо — от нелегальной листовки ЦК партии „Народной воли“ до консервативно-умеренного тогда „Нового времени“. Листовка народовольцев, как сказано, была выпущена в день похорон Тургенева; текст ее принадлежал перу П. Ф. Якубовича-Мельшина, и она гласила:

„Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждениям, Тургенев, быть может бессознательно для самого себя, своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и служил

<sup>1</sup> Письмо М. М. Стасюлевича в редакцию газеты „Новости“, напечатанное в № 244 от 14 сентября 1883 г. (перепечатано в издании „М. М. Стасюлевич и его современники“, т. III).

русской революции... Тургенев был честным предвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного чисто русского идеализма".<sup>1</sup>

Ту же, в сущности, оценку Тургеневу давал и легальный орган русского народничества — „Отечественные записки“; в сентябрьском отрывке „Писем постороннего“ член редакции Н. К. Михайловский писал:

„Я... предлагаю... стать на такую точку зрения, которая объясняет всю литературную деятельность покойного самым характером его творчества, всем его душевным складом. Этому складу была художественно враждебна и чужда всякая резкая определенность в образе мысли, всякая бесповоротная решительность в образе действия. Я подчеркиваю: художественно враждебна. Это не значит, что тот [или иной] образ мыслей или действий были ему враждебны, как мыслителю или деятелю; это могло быть, могло и не быть“.<sup>2</sup>

В чрезвычайно эффектной концовке своего письма критик „Отечественных записок“ сводит у гроба Тургенева всех главнейших персонажей тургеневских произведений: каждый пришел с теплым чувством благодарности к своему создателю, — одни за то, что он „призвал на их несчастные головы столько жалости и участия“ (Нежданов), а другие — что признал за ними „способность жертвовать собой“ (Машурина); у гроба теснятся Инсаров и Базаров, вертится Паклин — и даже сановные люди из „Дыма“ и „Нови“ присутствуют: скорбь об утрате художника-гуманиста, художника-примирителя объединила всех.

Мы увидим дальше, так ли понимали Тургенева те деятели 60-х гг., на чье наследство претендовали народники, а теперь обратимся к правому крылу критики и публицистики.

<sup>1</sup> Цитируется по изданию: „И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников“, изд. „Academia“, М.—Л., 1930, стр. 4—7. П. Л. Лавров пошел дальше ЦК народовольцев и склонен был рассматривать Тургенева вообще вне всяких партий и партийных программ: „Скептицизм относительно чего бы то ни было, действительно полезного для России, способного выйти от кого бы то ни было: от правительства, либералов или революционеров, составлял отличительную черту его взглядов на русские дела“ (П. Лавров, И. С. Тургенев и развитие русского общества. Вестник Народной воли, 1884, № 2, стр. 121).

<sup>2</sup> Цитируется по тексту т. V Сочинений Н. К. Михайловского, СПб., 1897, стр. 825; разрядка автора.

В 1884 г. вышла книга В. П. Буренина. И ее выводы о характере тургеневского творчества целиком совпадают с выводами Н. К. Михайловского:

„Тургенев в своих произведениях был... прежде всего художником и преследовал художественную цель — воспроизведение действительности, по возможности реалистически, правдиво”, — читаем в книге В. П. Буренина. „Нередко в его произведениях заметна как бы некоторая борьба между мыслью и непосредственною творческою впечатлительностью, причем художник настолько честен и добросовестен, что не дает преимущества первой и подчиняет ее последней”.<sup>1</sup>

Только охранительная реакционно-крепостническая печать 80-х гг., в лице „Московских ведомостей”, без устали подчеркивала „красный” либерализм Тургенева и старалась разоблачить „неблагонамеренность” как либерального лагеря, к которому принадлежал Тургенев, так и его самого.

Либерализм вынужден был со всею решительностью выступить в защиту лояльности Тургенева и отвечать на удары справа и на хвалы слева, а защищая — отрицал самоочевиднейшие факты действительного участия Тургенева в политической борьбе и всего того, что отсюда вытекало, — в том числе и связи Тургенева с революционерами, что имело место в последние годы жизни И. С., и политическую, партийную заостренность его художественного творчества.

Общественная борьба, развернувшаяся у гроба Тургенева, чрезвычайно поучительна и, повторяем, заслуживает специального рассмотрения, — здесь же мы установим только два вывода, которые могли бы последовать из такого рассмотрения:

во-первых, тот, что либерализм, заинтересованный в мирном сговоре с самодержавием, вынужден был представить художника воинствовавшего либерализма кротким апостолом гуманности и просвещенного беспартийного прогресса;

во-вторых, — что либерализму его тактика в известной мере удалась, и легенда о „всепримиряющем” тур-

<sup>1</sup> В. Буренин. Литературная деятельность Тургенева. Критический этюд. СПб., 1884, стр. 256—257.

геневском гуманизме надолго вошла в научный и педагогический обиход истории литературы.

Достигнуть этого либерализму было тем легче, что в начале 80-х гг. ему приходилось в сущности оспаривать только партию крепостнической реакции, представлявшуюся катковским органом; левые же течения общественной мысли, до ЦК „Народной воли“ включительно, легко на это шли. И это было не тактической ошибкой народничества, — тем менее это было тактическим маневром: единство народничества с либерализмом в оценке Тургенева было искренним и диктовалось всем ходом социальной эволюции, переживавшейся тогда народничеством. Путь этот, по определению В. И. Ленина, был от социалистической революции к сохранению основ буржуазного общества:

„Из политической программы, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества, — выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства при сохранении основ современного общества“. <sup>1</sup>

Описанная В. И. эволюция народничества закончилась к началу 90-х гг.; но либеральную тенденцию в народничестве <sup>2</sup> можно проследить уже в 1883 г., на примере оценки народниками Тургенева и его творчества. В той же прокламации ЦК „Народной воли“ читаем: <sup>3</sup>

„Глубокое чувство сердечной боли, проникающее «Новь» и замаскированное местами тонкой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу... не сподобной ли же иронией относимся теперь сами мы к движению 70-х гг., в котором, несмотря на его несомненную искренность, страсть и героическую самоотверженность, действительно было много наивного?..“

Через 10 лет после смерти Тургенева изменили свое отношение к автору „Дыма“ и „Нови“ также публицисты, кри-

<sup>1</sup> Ленин. Сочинения, т. I, изд. 3-е, стр. 165; курсив Ленина выделен здесь разрядкой.

<sup>2</sup> Там же, т. XV, стр. 95.

<sup>3</sup> Цитируется по упомянутому изданию — „Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников“, стр. 7; разрядка моя. И. В.

тики и историки катковской партии; теперь они, не отрицая политической партийности в писаниях и общественной деятельности Тургенева, но и не полемизируя с ней, ограничиваются тем, что низводят ее на очень низкий уровень:

„Наша критика привыкла видеть в Тургеневе писателя с огромным общественным и даже политическим значением“, писало „Русское обозрение“ в 1894 г., „но кто внимательно и свободно изучал Тургенева и его литературную деятельность, тот, без сомнения, понимает, что в таком взгляде на высоко-даровитого романиста есть значительная доля преувеличения: собственно политическим человеком он никогда не был“. <sup>1</sup>

Предание о беспартийности и аполитичности Тургенева держалось очень долго; еще в 1906 г. в „Вестнике Европы“ можно было прочитать:

„Он [Тургенев] был совершенно чужд односторонности, партийности“, писал об И. С. его немецкий критик и личный друг, Л. Фридлендер: „его отношение к самым разнообразным событиям и направлениям, были ли они ему симпатичны, или нет, отмечалось такой объективностью, что приводило даже к недоразумениям“. <sup>2</sup>

Легенда об аполитичности, бесстрастной беспартийности, беспринципном объективизме Тургенева нам представляется клеветой на великого романиста. И. С. стал жертвой специфических условий классовой борьбы в России, жертвой трусости российского либерализма и сумеречности той эпохи „безвременья“, когда подводились итоги его жизни и деятельности. Вся совокупность фактов, известных, зафиксированных в исторических документах и в творчестве писателя, противоречит этой легенде.

Тургенев был и певцом, и бойцом одного, совершенно определенного стана, определенного класса,— и, если иногда спорил с „обеими сторонами“ — и с своим классом, и с враждебным ему, — то отнюдь не в одинаковой мере и не по одним и тем же вопросам. Вместе с своим классом

<sup>1</sup> Из переписки И. С. Тургенева с А. И. Герценом. Русское обозрение, 1894, кн. I, стр. 111.

<sup>2</sup> Л. Фридлендер. Воспоминания о Тургеневе. Вестник Европы, 1906, кн. I, стр. 835.

переживал он его историческую эволюцию и вместе с ним „менял вехи“, когда того требовал неумолимый ход исторического развития.

Люди, старавшиеся закрепить за Тургеневым свойства аполитичности и беспартийности, могли, конечно, найти себе поддержку в заявлениях самого писателя: „Политической искры, к сожалению, во мне нет“,— писал он, например, П. В. Анненкову в 1862 г.,<sup>1</sup>— но даже это смягченное заявление писателя не соответствует действительности: „политической искрой“, т. е. боевым темпераментом, политическим чутьем, умением учитывать политическую ситуацию, умением маневрировать и выбирать позицию в соответствии с своей политической программой — Тургенев владел не хуже, чем многие признанные политики-профессионалы, его современники.

„Романы Тургенева превратили его в политического деятеля“, заверяет нас ближайший друг писателя — П. В. Анненков.

И это утверждение неверно, и оно ставит тургеневскую проблему неправильно. Автор „Отцов и детей“ и „Дыма“ был политическим деятелем и политическим мыслителем задолго до появления „Рудина“, — еще тогда, когда он организовал общественное мнение либеральных помещиков, сторонников немедленной крестьянской реформы, воспитывал либеральную мысль образами „Записок охотника“. И, конечно, более прав старый берлинский товарищ И. С., который через год после смерти писателя рассказывал о нем на страницах „Русской старины“:

„В то время [накануне 50-х гг. И. В.] он жил всем существом своим великими вопросами социального и политического преобразования России и желал возможно скорого упразднения крепостного состояния. Каждого несоглашавшегося с ним в неотложности этой меры и предлагавшего более медленный и постепенный образ действий... он считал реакционером“.<sup>2</sup>

И дело не ограничивалось только теми или иными квалификациями политических противников. Тургенев умел от-

<sup>1</sup> П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 558.

<sup>2</sup> Б. У. Ф. И. С. Тургенев в 30-е — 40-е гг., Русская старина, 1884, кн. V, стр. 394.

межевываться от своих противников, справа и слева, когда это было нужно. Правда, не в пример Белинскому, он часто делил хлеб с „филистимлянами“, но линию свою, вопреки установившемуся о нем мнению, никогда не менял в угоду хотя бы и самым задушевным своим друзьям; никогда не был „пристрастен ревности друзей“, никогда не отстаивал, в силу этого, честь вражеского знамени. В начале 60-х гг. он резко рвет с Некрасовым и „Современником“, когда пути их разошлись; тогда же надолго он рвет связи с Герценом, рвет с близким ему И. Аксаковым, рвет с Катковым, когда борьба дифференцировалась, когда честь своего знамени потребовала этого. И только с небольшой группой друзей своей юности, сохранившихся единомышленников в лице Анненкова, Кавелина, он идет своим путем, пока не приходит к давно намеченной цели — к созданию, совместно с группой М. М. Стасюлевича, центра российского либерализма в „Вестнике Европы“, где находит новых друзей в лице того же Стасюлевича, М. М. Ковалевского и др.

Исключений из этой своей практики партийного, политического отношения к людям Тургенев допускал немного: с одной стороны, можно указать на Фета, с которым Тургенев поддерживал приятельские отношения, несмотря на крепостнические выступления поэта; с другой — на Герцена, с которым он, после пятилетнего разрыва, возобновил отношения в 1867 г. и поддерживал их на нейтральной почве старой приязни до самой смерти Герцена, несмотря на то, что последний к концу 60-х гг. уже покончил с либеральными иллюзиями и вновь поднялся и вырос как революционер и демократ.

Нетрудно показать, что на переломе от 70-х к 80-м гг. Тургенев уже являлся общепризнанным лидером русского либерализма и мог бы действительно возглавить его в качестве вождя, как думал и он сам, и его друзья, если бы либерализму суждено было тогда политически оформиться, если бы бомбы 1 марта 1881 г. не взорвали здания своеобразного российского конституционализма, кропотливо воздвигавшегося либералами при посредстве Лорис-Меликова.

Не общественные романы Тургенева делали из него политического деятеля, а именно в силу того, что он был политическим мыслителем и политическим борцом, его романы

приобретали характер полных глубоко социального смысла художественных обобщений, с предельной, доступной автору, полнотой отражали современную ему действительность и имели мощное звучание не только в его стране, но и далеко за ее рубежами.

Своими корнями тургеневское творчество уходило в ту социальную среду, которую стеснял замедленный процесс капиталистического развития России, замедленный ход развития капиталистических отношений в деревне. Эта среда — тот слой землевладельческого класса, который представлял крупное землевладение в богатых, но запущенных черноземных областях, имевшее все данные, в более нормальных условиях развития страны, быстро эволюционировать в сторону рентабельного, построенного на чисто капиталистических основах сельского хозяйства. Представители крупного землевладения вынуждались к борьбе за известный экономический, а стало быть, и общественный прогресс, ибо только при этих условиях, с одной стороны, были возможны крупные капиталовложения в аграрные мероприятия государственного масштаба, с другой — быстрый рост армии сельскохозяйственного пролетариата, в чем крупное землевладение крайне нуждалось. Без удовлетворения этих нужд крупному землевладению предстояло долго находиться в стадии переходного состояния, следовательно, почти бездоходного или с крайне низкой доходностью.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Имущественное положение самого Тургенева в конце 60-х гг. являло пример такого стесненного положения крупного землевладения. В письме к соседу и приятелю И. П. Борисову от 16 марта 1867 г. он оставил очень ценное сообщение о хозяйственных делах в своих имениях:

... в 11 лет и 6 месяцев получил 127 371 рублей с копейками. Из них капитальной суммы — выкупных платежей, от продажи леса и т. д. — 63 564 р. Из доходных денег я, следовательно, получил 5500 руб. сер. в год. Оброчных сумм с оброчных имений поступает в год 5756 р., платежей в опекунский совет на 3409 р., — остается, следовательно, в пользу владельца 2347 руб. Если прибавить к этой сумме деньги за аренды, мельницы и т. д., то приблизительно получится вся сумма моего годового дохода — 5504 р., и окажется, что лучшие мои имения — Спасское, Танки и др., находящиеся на изделии, не приносят ни копейки... С 5500 десятин свободной земли получить 5500 р...” (Щукинский сб., кн. VII, стр. 379).

См. также письма к А. А. Фет, от 30 сентября 1865 г. и от 31 марта 1867 г. (А. Фет. Мои воспоминания. Ч. II, М., 1890, стр. 104 и 117).

Либерализм Тургенева выражал стремления этой группы прогрессивных аграриев и именно ее экономическую программу формулировал И. С. Тургенев в 1881 г. в анонимной статье „Alexandre III“, помещенной в „La Revue Politique et Littéraire“, в номере от 26(14) марта, т. е. тотчас же после смены лиц на российском престоле.

„Вот каковы эти меры“, заявляет И. С. в названной статье, настаивая на необходимости реформ, назревших в области аграрных отношений:

- 1) значительное уменьшение крестьянских выкупных платежей;
- 2) коренное изменение системы налогов;
- 3) уничтожение подушной подати;
- 4) облегчение переселений из одной губернии в другую...
- 5) большие облегчения в отношении паспортов;
- 6) основание земельных банков“.<sup>1</sup>

Мы сделали некоторые купюры в нашей цитации этой замечательной статьи, вопиющей, кстати сказать, против обвинения Тургенева в беспартийности — статьи, опиравшейся на весь политический опыт автора. Опущенные нами места подробно мотивируют вносимые И. С. предложения, и некоторые из них представляют большой интерес. Облегчение переселений, по мнению Тургенева, „может дать земледелию в России значительный простор“, так как в местностях, по плодородию почвы могущих быть хлебопроизводящими, недостает рабочих рук, „и чрезвычайные трудности, с которыми сопряжено переселение, угрожают удержать надолго такой порядок“; облегчения в отношении паспортов признаются совершенно необходимыми в силу того, что „крестьянин не может... пойти работать в соседний район без того, чтобы его не остановили формальности паспортной системы, сложные и дорогостоящие“; наконец, уменьшение крестьянских выкупных платежей, изменение системы налогов, уничтожение подушной подати и основание земельных банков — все это направлено в защиту деревни от неизбежного разорения, „от хищнического бича, от мелких

<sup>1</sup> Пропилеи, т. III, М., 1916; французский текст цитаты — стр. 264, русский (в переводе С. П. Петрашкевич) — стр. 271.

ростовщиков, которые поедают крестьянина и разоряют его как тучи саранчи".

Если 4-е и 5-е требования программы И. С. не оставляют сомнений относительно того, в чьих интересах они предъявлены, то в 1-м, 2-м, 3-м и 6-м требованиях также нетрудно угадать тот класс, в интересах которого, главным образом, хлопочет автор: и в этих требованиях в защиту деревни автор не столько защищал интересы крестьянства, сколько интересы прогрессивной буржуазии: капитализм был кровно заинтересован в известном уровне экономического благосостояния деревни, — укрепление внутреннего рынка повелительно этого требовало.

Может показаться, что Тургенев в начале 80-х гг. повторяет программу капиталистического развития страны, которая была сформулирована еще в 60-х гг. русскими просветителями, — программу Скалдина-Еленева, критически рассмотренную и оцененную В. И. Лениным.

„... все причины ухудшения положения крестьян [Скалдин] сводит к остаткам крепостного права, оставившего в наследство отработки, оброки, обрезки земель, личную бесправность и оседлость крестьян. Того, что в самом строе новых общественно-экономических отношений, в самом строе пореформенного хозяйства могут заключаться причины крестьянского обеднения, — этого Скалдин не только не видит, но и абсолютно не допускает подобной мысли, глубоко веря, что с полной отменой всех этих остатков крепостного права наступит всеобщее благоденствие".<sup>1</sup>

Скалдина В. И. Ленин взял как типического представителя просветительской идеологии 60-х гг. со всеми присущими этой идеологии чертами, — прежде всего — „горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области“; <sup>2</sup> другими чертами просветительства являлись: „горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России“; „отстаивание интересов народных масс, главным образом, крестьян“; „искренняя вера в то, что отмена крепостного права

<sup>1</sup> Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. II, стр. 313.

<sup>2</sup> Там же, стр. 314; разрядкой выделяется подчеркнутое Лениным.

и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание способствовать этому".<sup>1</sup>

По цензурным и другим условиям Ленин не мог в цитированную нами статью „От какого наследства мы отказываемся“ ввести истинного представителя просветительства 60-х гг.— Н. Г. Чернышевского и не мог, по тем же причинам, характеризовать просветительство всеми теми чертами, которые были свойственны мировоззрению Чернышевского; Ленин принужден был взять *liberal-konservativ'a* Скалдина<sup>2</sup>— и взял его потому, что программа Скалдина— „не раритет, а очень широкая струя 60-х и 70-х годов“.<sup>3</sup>

Легко видеть, что изложенная выше программа Тургенева расходится с программой просветителей 60-х гг., взятой даже в форме типического обобщения некоторых черт „наследства“ 60-х гг., так как в числе предлагаемых им реформ не содержится такой основной и ведущей, как „отмена всех остатков крепостного права“ („отработки, оброки, обрезки земель“); и это естественно: буржуазно-дворянский либерализм 80-х гг. не имел ничего общего с демократическим направлением просветителей-шестидесятников. Аграрная программа 80-х гг., сформулированная Тургеневым, вошла почти без изменений в программу позднейшего российского либерализма, когда он сложился как политическая партия, и здесь мы имеем еще одно доказательство зрелости партийно-политической мысли Тургенева, еще одно указание на историческую роль писателя в формировании либерализма в России.

Оформление российского либерализма явилось результатом длительного исторического процесса, начавшегося в конце XVIII в. и сопровождавшегося напряженной борьбой закрепощенного крестьянства с угнетавшим его феодальным строем. Зародившийся общим ходом экономического развития в недрах феодально-крепостнического строя, дворянский либерализм, отражавший тенденции буржуазного развития страны, требовал уступок крестьянству, требовал

<sup>1</sup> Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. II, стр. 314.

<sup>2</sup> См. примечания к т. II Сочинений Ленина, 3-е изд., стр. 630—631.

<sup>3</sup> Ленин. Сочинения, т. XXVIII, стр. 23—24.

реформы феодально-крепостнического строя прежде всего в форме так называемого „освобождения крестьян от крепостной зависимости“. Но на другой день после реформы, юридически оформившей и закреплявшей первый шаг к буржуазному переустройству общества, либерализм начинает упорную борьбу с главной для помещичьего класса опасностью — с демократической революцией, в свою очередь, требовавшей полной ликвидации феодализма, а следовательно — и дворянского землевладения, и дворянства как класса. В борьбе с революцией либерализм шел единым фронтом со всеми группами и течениями в дворянско-помещичьем классе, в том числе с выразителями самых реакционных тенденций в дворянстве — с крепостниками-реставраторами; только когда опасность революционного взрыва становилась менее реальной, либерализм ослаблял свои связи с крепостниками и вновь начинал с ними торговаться о „форме и мере уступок“ — и так до тех пор, пока история не поставила либерализм лицом к лицу с пролетариатом. До этой стадии в развитии либерализма Тургенев не дожил, но всю предыдущую его борьбу пережил и в ней непосредственно участвовал, отражая в своем художественном творчестве и самую борьбу, и ту среду, в которой художник боролся, равно как и ту, с которой боролся.

Три этапа эволюции легко выделяются в современной Тургеневу истории российского либерализма: до-реформенная его борьба за реформу феодально-дворянской монархии, его борьба с революцией в эпоху крестьянской реформы и в связи с ней и пореформенное его состояние, характеризующееся формированием собственной политической программы, во-первых, отличной от программы дворянского консерватизма, во-вторых, противостоявшей программе сторонников революционной ломки уже пореформенного полукрепостнического государства.

Самым напряженным и критическим для либерализма этапом при жизни Тургенева был средний — эпоха 60-х гг., эпоха несостоявшейся крестьянской революции.

Творчество Тургенева в этот период также особенно напряженно и политически значимо: непосредственно в послереформенный период созданы „Отцы и дети“, „Призраки“, „Дым“, имевшие строго функциональное назначение и в

соответствии с этим яркую и острую публицистическую окраску. Будучи созданы рукою первоклассного мастера, художника с определенным философским кругозором, с четким политическим мировоззрением, с яркой общественно-политической активностью, произведения эти не только отражают настроения и устремления автора и его класса, но и ту объективную действительность, из которой они вырастали, которая обусловливала общественную борьбу и определяла ее результаты.

## 2

Севастопольская катастрофа 1855 г. была началом конца для старой феодально-крепостнической монархии. Два с лишним года длилась ее агония, пока в ноябре 1857 г. вопрос о том, в чьих руках власть, не разрешился в пользу дворян-либералов. Рескрипты Александра II на имя виленского, петербургского и московского генерал-губернаторов,— первые документы, ставившие вопрос о реформе крепостного права,— были показателями политического поражения крепостников-реакционеров. Таким образом, эпоху 60-х гг., как эпоху реформы российского феодализма, можно считать начавшейся в феврале 1855 г.; смену эпох символизировала смерть Николая I.

Общественная борьба, начавшаяся в связи с реформой, закончилась в 1866 г. разгромом сил демократической революции и временным торжеством реакционных сил внутри буржуазно-помещичьего лагеря. Революционное просветительство, после поражения своего в 1866 г., не воскресло: из разгрома демократия вышла вновь на арену общественной борьбы уже с другими лозунгами и другой программой, получившей свое выражение в народничестве.

Судьбы русского либерализма в указанных хронологических рамках (1855—1866 гг.) определялись той политической ситуацией, которая складывалась в связи с крестьянской реформой. В 1855—1857 гг. либерализм, отражавший интересы прогрессивного помещичьего землевладения и буржуазии, восторжествовал над крепостниками.

„Тогда, в эпоху 60-х годов», сила крепостников была надломлена: они потерпели, правда, не оконча-

тельное, но все же такое решительное поражение, что должны были стушеваться со сцены. Либералы, напротив, подняли голову [...] Либералы оказались настолько сильны, что переделали «новые порядки» по своему, — далеко не совсем, конечно, но в изрядной мере".<sup>1</sup>

Одновременно с этим либерализм должен был вступить в борьбу с революционной демократией, выражавшей интересы закрепощенного крестьянства.

Эпоха 60-х гг. застает Тургенева и круг его единомышленников в некрасовском „Современнике“ вместе с Н. Г. Чернышевским. Чернышевский выступает пока еще в ограниченной сфере литературных вопросов, но и этих выступлений оказалось достаточно, чтобы расхождение между ним и либеральной группой „Современника“ наметилось и определилось. 3 мая 1855 г. вышла из печати книга Чернышевского „Эстетические отношения искусства к действительности“, и это обстоятельство заставило либералов начать прямое наступление против ее автора. Мы не станем останавливаться на всех деталях борьбы между группой либералов „Современника“, с одной стороны, и руководством журнала и Чернышевским — с другой; отметим лишь два факта в ее начале: попытку либералов вытеснить Чернышевского из „Современника“ и отсутствие единства в самой либеральной группе.

Уже в июле 1855 г. Тургенев писал И. В. Анненкову:

„Чернышевского за его книгу надо бы публично заклеймить позором. Это мерзость и наглость неслыханная“. <sup>2</sup>

Эта бурная реакция на факт появления книги Чернышевского, этот резкий отзыв — не были единственным проявлением отношения Тургенева к Чернышевскому; таких и более резких отзывов о Чернышевском в переписке Тургенева той поры можно встретить немало. Так, в письме к А. В. Дружинину и Д. В. Григоровичу от 10 июля 1855 г. Тургенев заявляет последнему:

„Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние и клятву отныне пресле-

<sup>1</sup> Ленин. Сочинения, т. I, стр. 181.

<sup>2</sup> Новый мир, 1927, кн. IX, стр. 162.

довать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!..<sup>1</sup>

Клятва, хотя и данная в полушутиливом - полусерьезном тоне, не осталась на бумаге: еще до того времени началась закулисная кампания против Чернышевского. Кампанию вели Боткин, Дружинин и сам Тургенев, и цель ее сводилась к удалению Чернышевского из „Современника“ и к замене его Ап. Григорьевым. Шла соответственная обработка хозяев журнала — Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. Несколько сохранившихся документов по этому делу если не до конца освещают этот эпизод, то во всяком случае дают о нем достаточно ясное представление.

„В Москве мы остановились у Василия Петровича [Боткина. *I. B.*]“, писал Дружинин Тургеневу 28 июня, „обрели Некрасова... пили, обедали постоянно вместе, ездили за город и мимоходом внушали Некрасову разные полезные истины насчет «Современника», принимаемые им весьма дружелюбно“.<sup>2</sup> „В Москве мы с Василькой говорили Некрасову о пахнущем клопами, о журнальных делах вообще“, — поясняет Дружинин в следующем письме — о каких „полезных истинах“ шли разговоры с Некрасовым.<sup>3</sup>

Дело не ограничилось только разговорами с Некрасовым; велись переговоры и с прочившимся в заместители Чернышевскому Григорьевым; в апреле 1856 г. В. П. Боткин писал Некрасову:

„Сегодня был у меня Аполлон Григорьев — он не прочь от участия в «Современнике»... Он готов взять на себя всю критику «Современника», но с тем, чтобы Чернышевский уже не участвовал в ней... При твоем контроле Григорьев был бы кладом для журнала... При том он во всем нам ближе Чернышевского“.<sup>4</sup>

Тургенев принимает непосредственное участие в переговорах с Ап. Григорьевым и посредничает между ним и Некрасовым:

<sup>1</sup> Первое собрание писем И. С. Тургенева, СПб., 1884, стр. 14.

<sup>2</sup> Тургенев и круг „Современника“, изд. „Academie“, М.—Л., 1930, стр. 175.

<sup>3</sup> Там же, стр. 186.

<sup>4</sup> Голос минувшего, 1916, кн. X, стр. 92—93, публикация В. Евгеньева-Максимова; разрядка моя. *I. B.*

„Григорьева увижу сегодня вечером и из деревни тебе напишу результаты нашего разговора“, сообщает он 6 мая 1856 г. Некрасову из Москвы, где останавливался проездом в Спасское.<sup>1</sup>

По отъезде Тургенева переговоры продолжает Боткин, а Тургенев, возвратившись в июле на короткое время в Петербург перед отъездом заграницу, использовал этот приезд для непосредственных переговоров с Некрасовым.

Действительное отношение Некрасова к делу, над которым хлопотала тройка — Боткин, Дружинин и Тургенев, — мне неизвестно; собранная некрасовская переписка ничего об этом не говорит. Некрасов, повидимому, либо вел дипломатическую игру, боясь потерять для своего журнала плеяду, возглавлявшуюся Тургеневым, либо колебался, не зная, на что решиться.<sup>2</sup> Если поэт-редактор действительно дипломатничал, то очень искусно: ему удалось сохранить и Чернышевского, и плеяду, причем Тургенев в числе четырех членов так называемой „коалиции“ (Тургенев, Григорович, Островский и Л. Толстой) обязался не только предпочтительно, но и исключительно сотрудничать в „Современнике“. В конце концов в „Современнике“ „худой мир“ временно был восстановлен.

Знал ли Чернышевский о закулисной игре против него либерального круга сотрудников „Современника“ и, в частности, Тургенева? Вернее всего, что не знал: об этом свидетельствует его переписка с Некрасовым и строки, посвященные в ней Тургеневу. Чернышевский любовно относился к автору „Записок охотника“ и высоко его ставил как писателя и человека.<sup>3</sup> Но его приязнь к Тургеневу не распространялась на друзей последнего — Анненкова, Боткина, Дружинина. Из опубликованных писем Н. Г. к Тургеневу известно, что он предпринимал даже попытки оторвать писателя от них.

<sup>1</sup> Там же, стр. 92.

<sup>2</sup> В письме А. В. Дружинину от 5 августа 1855 г. находим единственное за этот год упоминание о Чернышевском (Некрасов. Собр. соч., т. V, ГИЗ, 1930, стр. 210), свидетельствующее, что какое-то влияние на Некрасова атаки тройки возымели.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II, стр. 344, 348 и сл.

„Неужели мнения нескольких тупцов могут изменить Ваше мнение о Ваших произведениях? Вы по доброте Вашей слишком снисходительно слушаете всех этих Боткиных с братией. Они были хороши, пока их держал в ежовых рукавицах Белинский, умны, пока он набивал их головы своими мыслями. Теперь они выдохлись“.<sup>1</sup>

Ответные письма Тургенева Чернышевскому (если они были) неизвестны, но на некоторое время между ним и Чернышевским, повидимому, установились сносные отношения. В переписке Тургенева с Панаевым за тот же период времени встречаются благожелательные отзывы о Чернышевском, посылаются ему приветствия, выражается уверенность, что Панаев с Чернышевским хорошо справляется с журналом и т. д.<sup>2</sup>

Но все же это был „худой мир“: в письмах, того же времени, Тургенева к Боткину, забота о „Современнике“, оставленном Некрасовым на руках у Панаева и Чернышевского, формулируется в выражениях, не очень лестных для Панаева и Чернышевского: „Наблюдай за ними, пожалуйста, — Чернышевскому нужен ментор, а Панаеву (*entre nous soit dit*) — нянька“, и т. п.<sup>3</sup>

Два обстоятельства могут послужить объяснением перемены в отношении Тургенева и его круга к Чернышевскому и наступившего относительного затишья: в некоторой мере кроткое поведение самого Н. Г., создавшего иллюзию укрощения строптивого разночинца,<sup>4</sup> а главным образом — отсутствие согласия в среде либерального круга „современниковцев“. Так, между прочим, Боткин, несмотря на то, что принимал деятельное участие в переговорах о замене Чернышевского Ап. Григорьевым, был решительно не согласен с оценкой „стариками“ жупельных для них „Эстетических отношений“.

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II, стр. 358; не датировано; очевидно, относится ко 2-й полов. 1856 г.

<sup>2</sup> Панаев. Воспоминания, СПб., 1887, стр. 402 и сл.

<sup>3</sup> И. С. Тургенев и В. П. Боткин. Переписка. „Academia“, М. — Л., 1930, стр. 34, 98, 108 и др.

<sup>4</sup> „Насчет Чернышевского мы, кажется, ошиблись, он — человек теплый... и к нам не питает ни малейшего враждебного чувства“ (Панаев — Боткину, 22 марта 1857 г. „Тургенев и круг «Современника»“, стр. 411).

„Представь себе диковинную странность мою“, писал он Тургеневу еще в 1855 г., „ведь я не совсем согласен с тобой относительно диссертации Чернышевского. В ней очень много умного и дальновидного... Прежние понятия об искусстве обветшали и никуда не годятся вследствие изменения нашего воззрения на природу и на действительность... С самого начала реальной школы вопрос был решен против абсолютного значения искусства“. <sup>1</sup>

Строки эти — отзвук тех боев, которые шли в кружке „стариков“ (Анненков, Боткин, Дружинин, Тургенев) по вопросу о пушкинском и гоголевском начале в литературе, — боев, начинавших разложение и размежевание внутри либерально-дворянской литературы. Внутренние противоречия, вероятно, давали возможность Некрасову добиваться успеха в своей дипломатии; <sup>2</sup> они же были и главной причиной временного затишья в борьбе против Чернышевского, — временного, пока споры не перенеслись из области литературных вопросов в область вопросов социально-политических, а это произошло тогда, когда, в связи с общим ходом крестьянской реформы, обострилось политическое положение и обнажились до конца противоречия между классами, представлявшими Чернышевским, с одной стороны, и либеральной группой старых „современниковцев“ — с другой.

Чернышевский, несмотря на свою видимую кротость, оказался мудрым стратегом; он лучше Некрасова понимал, что затишье — времененная передышка, что продолжение борьбы неизбежно, что журнал недолго будет объединять столь различные элементы и что в той или иной форме разрыв неизбежен. И свои усилия Чернышевский направил на создание новых, демократических писательских кадров для „Современника“: в 1856 г. в журнале появился Н. А. Добролюбов, затем Н. В. Успенский, позже Н. Г. Помяловский и др.

Момент разрыва наступил к концу трехлетия, в течение которого шла канцелярская разработка крестьянской реформы. В начале трехлетия указанные выше рескрипты

<sup>1</sup> Боткин и Тургенев. Переписка, стр. 61.

<sup>2</sup> К этому времени относится особая близость между Некрасовым и Боткиным. См. Некрасов. Соч., т. V, стр. 216 и сл.

Александра II были встречены одинаково восторженно и „Колоколом“ и „Современником“.

„Ты победил Галилеянина“, писал Герцен, „...с того дня, как Александр II подписал первый акт, всенародно высказавший, что он сторонник освобождения крестьян, что он его хочет, с тех пор наше отношение к нему изменилось... Имя Александра II отныне принадлежит истории... начало освобождения крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут“. <sup>1</sup>

„Высочайшими рескриптами 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 г.“, писал Чернышевский, „благополучно царствующий государь император начал дело, с которым по своему величию и благотворности может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим... Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан никто из государей Европы“. <sup>2</sup>

Совершенно очевидно, что панегирический тон „Колокола“ и „Современника“ был результатом переоценки царских рескриптов: и Герцен, и Чернышевский ожидали, что освобождение, если не отдаст крестьянам всю землю, то сохранение помещичьего землевладения не отразится на наделении крестьян землей в достаточном количестве и уже во всяком случае это произойдет без каких-либо материальных жертв и обязательств крестьян в пользу помещиков. Свою точку зрения на бесспорность права крестьян владеть землей Герцен развивал неоднократно.

„Воля крестьян начнется с их восстания или освобождения“, говорил Герцен в Лондоне 27 февраля 1855 г. на митинге, посвященном памяти Февральской революции: „Русский мужик слышать не хочет об увольнении его в состояние бездомного бобыля. Он хочет земли, и он прав в этом: земля будет за ним“.

Такое понимание вкладывал в проблему освобождения крестьян и Чернышевский.

<sup>1</sup> Цитируется по изданию: Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, стр. 126 (в дальнейшем цитируется: Герцен, с указ. тома и страниц).

<sup>2</sup> Цитируется по изданию: Собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. IV, стр. 50 и 54 (в дальнейшем цитируется: Чернышевский с указ. тома и страниц).

Ход реформы показал Герцену и Чернышевскому, что оба они ошиблись.

Летом 1858 г. Главным комитетом по крестьянскому делу было выработано и разослано Губернским комитетам предложение о крестьянском управлении во главе с начальниками волости и сельского общества, избираемыми помещиками и пользующимися теми же, в основном, правами в отношении будущих свободных крестьян, какими пользовались помещики в отношении крестьян закрепощенных; этого и подобного ему проектов, исходивших от Главного комитета, было достаточно, чтобы судить, в какой степени неосновательны были те надежды, которые возлагались Герценом и Чернышевским на реформу.<sup>1</sup>

В конце августа и начале сентября последовали знаменитые письма И. Ростовцева к царю, в том числе и З-е — также о власти помещика над крестьянской общиной. В ноябре И. Ростовцев — уже видная фигура в Главном комитете: „имея в виду, что в сих письмах есть много весьма дальних и полезных мыслей“,<sup>2</sup> царь поручает ему составить подробное извлечение из проектов Губернских комитетов, что Ростовцев и сделал, приложив к извлечению и выводы в духе своих писем к Александру II; доклад Ростовцева был отпечатан и раздан членам комитета. Наконец, в декабре были утверждены правила для руководства комиссиям по рассмотрению проектов, поступающих из губерний; правилами устраивалась всякая мысль о безвозмездном наделении крестьян землей за счет помещиков или казны.<sup>3</sup> В то же время вопрос о власти помещиков над общиной оставался нерешенным.<sup>4</sup>

Необходимо отметить всю умеренность тогдашнего настроения Чернышевского: он готов был допустить сосущест-

<sup>1</sup> „Мы с ужасом прочли проект центрального комитета“, писали Герцен и Огарев в „Колоколе“ царю: „остановитесь! не утверждайте! Вы подпишите свой стыд и гибель России!“ (Герцен, т. IX, стр. 303).

<sup>2</sup> „Материалы редакционных комиссий по крестьянскому делу“. СПб., 1859, т. I, кн. I, стр. 199.

<sup>3</sup> Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в царствование императора Александра II, Берлин, 1860, т. I, стр. 408 и сл.

<sup>4</sup> См. п. 4 журнала Комитета от 4 декабря 1858 (Материалы редакционных комиссий, т. I, кн. I, стр. 208).

вование помещичьего землевладения рядом с общинным, в уверенности, что дальнейший ход общественной эволюции разрешит вопрос: кто кого? — в пользу общины; по тем же основаниям он был готов согласиться на выкуп крестьянских наделов у помещиков государством и доказывал правительству, что выкуп для государства возможен и необременителен.

Но описанный характер определившейся реформы разрушил все иллюзии. И если в ноябре Чернышевский с презрительным терпением доказывает помещикам необходимость держаться „возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб“, то в декабре, отвечая на вызывающие нападки русских манчестерцев на общинное землевладение, Чернышевский с горечью говорил:

„... я стыжусь самого себя. Мне совестно вспомнить о безвременной самоуверенности, с которой поднял я вопрос об общинном землевладении... Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь это сделать, как могу“.<sup>1</sup>

И объясняет: два условия могут гарантировать благотворительное действие общины: 1) рента должна принадлежать тем, кто составляет общину, 2) владелец ренты не должен быть обременен кредитными обязательствами, которые вытекают из самого факта получения ренты; другими словами — для благополучия общины надо, чтобы крестьянство получило необходимую ему землю, без всяких со своей стороны жертв в пользу бывших владельцев.

Этих условий не только не было, но вырастала угроза нового вида крепостного права с коллективным крепостным в лице общины:

„Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия. Кто, кроме глупца, может хлопотать о собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях“.<sup>2</sup>

Различно было на этом этапе отношение Герцена и Чернышевского к наметившейся реформе: Герцен предупреж-

<sup>1</sup> Чернышевский, т. IV, стр. 304 и 306.

<sup>2</sup> Там же, стр. 307.

дает и просит, Чернышевский догадывается, какие „условия“ могли бы обеспечить благополучие общины, и, не называя их по понятным причинам („трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь объяснить как могу“), угрожает революцией.

В лагере либеральной группы, возглавляемой Тургеневым, была своя правая и своя левая. По переписке членов этой группы можно составить некоторое представление о настроении группы:

„[Анненков] кидает орлиный взор на науку и дела России, произносит несколько тацитовых сентенций, напр.: крестьян должно прикрепить к чему-нибудь“, — рассказывает шутливо Дружинин Тургеневу в письме от 19 ноября 1858 г.<sup>1</sup>

Раскрывается в одном из своих писем к тому же Анненкову и сам либеральный редактор „Библиотеки для чтения“, — эстет, апологет пушкинского начала и поборник теории искусства для искусства.

Помещики, по убеждению Дружинина, „искренно готовы многим пожертвовать для крестьянского вопроса“; „готовая к жертвам“ помещичья масса находится под влиянием прямых сторонников освобождения, „молодых и хорошо знающих хозяйство“.

„С ними я говорил много — и увы! — краснею за нашу бедную литературу... Меня не огорчает, что «Современник» с Чернышевским стали общей потехой, но горько, что люди вроде Кавелина и Чичерина не миновали печальной доли... Я заступался, сколько мог, но что я мог сказать, когда мне показывали в статье Кавелина место, где говорится, что в имениях барщинных надо отдать крестьянам часть земли, а в оброчных всю!!!“<sup>2</sup>

К моменту этого письма К. Д. Кавелиным, за которого особенно конфузился Дружинин, были написаны следующие работы по крестьянскому вопросу: „Записка об освобождении крестьян в России“, „Мысли об уничтожении крепостного состояния в России“ и „Мнение о лучшем способе разработки вопроса об освобождении крестьян“. Из них в печати была одна первая и то неполностью,<sup>3</sup> хотя в списках

<sup>1</sup> Тургенев и круг „Современника“, стр. 216.

<sup>2</sup> 13 июня 1858 г., там же, стр. 237—238.

<sup>3</sup> Голоса из России. Изд. А. И. Герцена. Лондон, 1856.

была распространена довольно широко. Статья Кавелина доказывала, что „освобождение может совериться во всяком случае не иначе, как с вознаграждения владельцев“, и предлагала выкупить только ту землю, которая находится в действительном владении и пользовании крестьян, в остальном статья чрезвычайно заботливо охраняла и защищала интересы дворянства. Но и Кавелин казался чрезмерно левым для „молодых дворян“ и Дружинина.<sup>1</sup>

Тургенев был солидарен не с Дружининым, а с Кавелиным. В соответствии с программой Кавелина он, владелец десятка тысяч крепостных, устраивает быт своих крестьян летом в 1858 г.<sup>2</sup> Характер размежевания с крестьянами он описывал в октябре того же года в письме И. С. Аксакову:

„С крестьянами я почти везде благополучно размежевался; оставил, разумеется, старое количество земли, переселил их (с их согласия) — и с нынешней зимы они все поступают на оброк по 3 рубля с десятины. Крестьяне перед разлукой с господами становятся, как говорится у нас, козаками и тащат с господ все, что могут: хлеб, лес, скот и т. д.“.<sup>3</sup>

Естественно, что даже „левая“ программа Кавелина — Тургенева, в своих принципиальных основах, противостояла программе Чернышевского.<sup>4</sup> Чернышевский (и Герцен) представлял, что результатом реформы должна быть экономи-

<sup>1</sup> Напечатанная в извлечении в 1858 г. в „Современнике“ статья вызвала недовольство Александра II, принесла много неприятностей цензурному ведомству и автору стоила места преподавателя у наследника (см. „Материалы для истории упразднения крепостного состояния“, т. I, стр. 230—249).

<sup>2</sup> Письмо к П. Виардо от 30 июля (11 августа) 1858 г. (Письма И. С. Тургенева к г-же П. Виардо и своим французским друзьям. М., 1900, стр. 124.)

<sup>3</sup> Цитируется по тексту „Литературного вестника“, 1903, кн. V, стр. 80. — „Благополучие“ этой сделки впоследствии, после смерти И. С., оспаривалось; в пику либералам, „Русским вестником“ приводились даже свидетельские показания кого-то из крепостных И. С., но утверждения и материалы катковско-леонтьевского органа вряд ли заслуживают доверия; бесспорно, однако, что Тургенев несколько запоздал с своей хозяйственной реформой, хотя и подталкивался к ней приятелями (письмо Д. Колбасина от 15 октября 1857 г.: „К новому году будет освобождение крестьян, если это так, то кому-то будет стыдно дожидаться общей меры освобождения“).

<sup>4</sup> Опубликование выдержек кавелинской статьи в „Современнике“ даже в составе обозрения, составленном Н. Г., дела не меняет: обзоры „О новых условиях сельского быта“, в одном из которых выдержки напечатаны, имели дискуссионный характер.

чески мощная община — ячейка будущего социалистического общества, причем, как указано, Чернышевский не мыслил в будущем одновременного и постоянного существования помещичьего и общинного землевладения и допускал первое как компромисс, последствия которого ликвидируются естественным ходом общественного развития. Кавелинские же положения были формулированы совершенно отчетливо:

„Интерес владельцев в крепостном праве очевиден: они защищают в нем свое имущество, дошедшее к ним законным порядком и потому во всяком случае составляющее их неотъемлемую гражданскую собственность. Этого их права добросовестно отрицать нельзя“.<sup>1</sup>

Вряд ли Тургенев имел что-либо возразить против этого обоснования помещичьих прав на компенсацию. Но он был решительно против общинных теорий Чернышевского и Герцена, и статья Н. Г. — „Критика философских предубеждений против общинного владения“ — была в такой же степени направлена и против него, как против Вернадского и др. Отношение Тургенева к общине было резко отрицательное; напомним известное его письмо к И. С. Аксакову от 25 апреля 1859, т. е. современное рассмотренным нами здесь событиям:

„О мире, об общине, о мирской ответственности в наших околотках никто слышать не хочет... [Крестьяне] дорожат миром только с юридической точки зрения, как самосудством, если можно так выразиться, но никак не иначе“.<sup>2</sup>

Таким образом, Тургенев (и Кавелин), с одной стороны, и Чернышевский (для той поры отчасти и Герцен) — с другой, представляли взаимно исключавшие интересы двух классов, и компромисс между сторонами в это время, на решающем этапе подготовки крестьянской реформы, был невозможен. О разрыве Тургенева с „Современником“ и его руководителями Чернышевский рассказывает в специальных

<sup>1</sup> Цитируется по тексту издания: Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. II, стр. 41.

<sup>2</sup> У Кавелина были свои оттенки во взгляде на общину, не совпадавшие с точкой зрения И. С.

воспоминаниях.<sup>1</sup> Как ни объективны по внешней своей форме эти воспоминания, написанные четверть века спустя после событий, как ни старается Чернышевский говорить меньше всего о себе, — непримиримый антагонизм между ним и Тургеневым сквозит в каждой строке воспоминаний.

„Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь... будет довольно заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем... Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был и в этом другого мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники“.<sup>2</sup>

Н. Г. отказывается по запамятованию изложить мотивы разрыва, но в одном месте он приоткрывает завесу: „единственным решавшим дело мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению „Современника“, т. е. на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором — ко мне“.<sup>3</sup>

Нас не должно вводить в заблуждение, что себя Н. Чернышевский ставит на „втором плане“: это была его обычная манера, когда речь шла о Добролюбове и о нем; в данном случае поводом к разрыву послужила статья именно Добролюбова о романе И. С.— „Накануне“.

Многочисленные версии этого эпизода обыкновенно сводятся к обидам Тургенева на критика. К этой версии склоняется и Чернышевский. Документы, проливающие свет на эпизод, говорят другое. Добролюбов в своей статье общий и несколько туманный гуманно-освободительный идеализм тургеневского романа поставил в связь с проблемой русской революции. Тургенев считал, что романом онставил вопрос о значимости и необходимости в русской жизни той эпохи сознательно-героических натур;<sup>4</sup> Добролюбов дока-

<sup>1</sup> „Воспоминания об отношениях между Тургеневым и Добролюбовым и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым“. Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. III.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие. т. III, стр. 769—770.

<sup>3</sup> Там же, стр. 775.

<sup>4</sup> „В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур (стало быть, тут речь не о народе) — для того, чтобы дело подвинулось“ (письмо к И. С. Аксакову от 13 ноября 1859 г., Лит. вести, 1903, кн. V, стр. 21).

зывал, что из романа вытекает оптимистический вывод о необходимости и возможности на русской почве „русских Инсаровых“, проникнутых „идеей освобождения родины и готовых принять в нем деятельную роль“. Возможно, что у Добролюбова была и побочная цель в написании о тургеневском романе статьи с такими выводами: вызвать ответную реакцию автора „Накануне“, которая ни у кого не оставляла бы сомнения: кто Тургенев „Современнику“ — только ли „плохой союзник“ или враг? Расчет, если он был, оказался верным: И. С. бурно реагировал на статью, с которой его ознакомил цензор „Современника“ В. Н. Бекетов, в свою очередь, ставший вступик перед статьей „каких давно никто не читал“. <sup>1</sup> Тургенев пишет Некрасову:

„Убедительно тебя прошу, милый [Некрасов] не печатать этой статьи: она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда бежать, если она напечатается“. <sup>2</sup>

Письмо Бекетова Добролюбову более откровенно разъясняет, что заставило И. С. взъяниться.

„... пропустить [статью] в том виде, в каком она составлена, решительно нет никакой никому возможности. Напечатать ее так, как она вылилась из-под вашего пера, по убеждению, значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному“. <sup>3</sup>

Статья в том виде, в каком она была написана, не появилась: Бекетов обесцветил ее, выхолостил ее содержание. В первоначальном ли виде напечатал ее Чернышевский в 1-м собрании сочинений Н. А., или это новая переделка — мы не знаем. Но эпизод, несмотря на то, что он только послужил поводом для разрыва И. С. с „Современником“, совершенно точно определял позиции разошедшихся сторон — позиции либерального реформизма и революционного демократизма.

<sup>1</sup> Письмо Бекетова Добролюбову; публикация М. К. Лемке (Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова. СПб., 1911, т. IV, стр. 32).

<sup>2</sup> Голос минувшего, 1916, кн. X, стр. 101; публикация В. Евгеньева-Максимова.

<sup>3</sup> Добролюбов, т. IV, стр. 32.

В 1861 г. Чернышевский так формулировал причины разрыва между редакцией „Современника“, в его лице и в лице Добролюбова, и Тургеневым:

„Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева, что он перестал одобрять его. Нам стадо казаться, что последние повести г. Тургенева<sup>1</sup> не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не так было ясно для нас, да и наши взгляды не так были ясны для него“.<sup>2</sup>

Конечно, и субъективные моменты играли в разрыве немаловажную роль: для Чернышевского и Добролюбова Тургенев являлся „чужим“, представителем чуждого, враждебного помещичьего класса, к которому они, идеологи крестьянской демократии, не могли питать никаких особых чувств расположения. Не происхождение И. С. здесь играло роль (Некрасов и Панаев были тоже дворяне), и не только общий облик Тургенева, склад его психики — барина-либерала, а его яркая индивидуальность, как представителя, выразителя своего класса. Об отношении Чернышевского к дворянскому классу в целом, помимо общего смысла его самого и Добролюбова писаний, есть и прямое свидетельство Н. Г. в других его мемуарах, скрытых полубеллетристической формой. „В Прологе“ Чернышевский рассказал более откровенно, чем где бы то ни было, о своих тогдаших чувствах и к классу помещиков в целом, и к его либеральным представителям, и к той реформе, которая явилась в итоге сговора дворян-либералов и дворян-крепостников.

Волгин-Чернышевский присутствует на частном собрании представителей провинциального дворянства, съехавшихся в столицу „следить за крестьянским делом“, и вот какие чувства его волнуют, когда он видит этих людей, слышит их речи:

„Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые остаются безнаказаны и безубыточны: безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказаны за все свои злодейства; противно, обидно за справедливость — и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен“.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> В 1860 г., кроме „Накануне“, Тургенев напечатал „Первую любовь“.

<sup>2</sup> Чернышевский, т. VIII, стр. 226.

<sup>3</sup> Чернышевский, т. X, ч. I, стр. 173.

Естественно, что усилия либералов Рязанцевых (Кавелиных — Тургеневых), пытавшихся влиять на эту толпу плантаторов-рабовладельцев, чтобы выторговать у них крохи, казались Волгину-Чернышевскому „пустым делом“, вредным, ибо отнять у них следовало все, их следовало смести, вырвать из истории будущего развития страны.

Когда реформа совершилась, когда акты 19 февраля были обнародованы, либеральный лагерь шумно торжествовал победу. Мартовские, 1861 г., письма Тургенева к различным адресатам полны ликования:

„Когда мое письмо к вам дойдет, вероятно уже великий указ,—указ, ставящий царя на такую высокую и прекрасную ступень — выйдет“, писал он Анненкову 15(27) февраля 1861 г.<sup>1</sup>

„Дело это устроено, по мере возможности, порядочно“, пишет он Герцену:<sup>2</sup> „Мы здесь [в Париже. И. В.] отпели молебен в церкви, и поп произнес нам краткую, но умную и трогательную речь, от которой я прослезился, а Николай Иванович Тургенев чуть не рыдал. Тут же был и старый князь Волконский“<sup>3</sup> и т. д.

Недалеко от Тургенева в оценке акта 19 февраля тогда уходил и А. И. Герцен:

„Александр II сделал очень много, очень много... Он боролся во имя человеческих прав... Из дали нашей ссылки... мы приветствуем его именем Освободителя“,<sup>4</sup> — писал Герцен в „Колоколе“.

А Чернышевский? — он занят был переводом Милля, и „Современник“ отозвался на акты 19 февраля всего лишь опубликованием „Извлечения из постановления о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав свободных

<sup>1</sup> Анненков. Литературные воспоминания, стр. 533.

<sup>2</sup> „Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену“, Женева, 1892, стр. 139.

<sup>3</sup> Декабрист С. Г.—Ср. у М. Е. Салтыкова: „Хочу написать рассказ „Паршивый“. Чернышевский или Петрашевский — все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают „боже царя храни“ (Письмо к Анненкову 2 декабря 1875, Салтыков. Письма. ГИЗ, Л., 1927, стр. III).

<sup>4</sup> Герцен, т. XI, стр. 59.

сельских обывателей".<sup>1</sup> Свое отношение к реформе он высказал за год перед тем, в „Письме из провинции Русского человека к издателям „Колокола“:

„Я всегда думал, что [Николай] скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула... „вы сделали все, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон... к топору зовите Русь“.<sup>2</sup>

„Где у нас та среда, которую нужно вырубать топором?“, спрашивал Герцен, комментируя это письмо, „... кто в России сделал что-нибудь путное для России, кроме государя? Отдадим кесарево-кесареви...“<sup>3</sup>

Самым ярким выражением отношения крестьянства к „воле“, возвещенной манифестом 19 февраля, было безднинское восстание; расправа с крестьянами в Бездне обнажила до конца и весь комплекс настроений „освободителей“. Безднинский расстрел вызвал у Герцена вопль отчаяния:

„Русская кровь льется...“

„Мозг разлагается, кровь стынет в жилах...“<sup>4</sup>

А Тургенев? — Маленькие „бездны“ были повсеместно, — но они для автора „Записок охотника“ были естественным явлением:

„... ни слова о крестьянском деле... это дело растет, ширится, движется во весь простор российской жизни, принимая формы большею частью безобразные. И хотеть ему сделать какой-нибудь путный гезитé было бы безумием... Пока можно только сказать, что здесь все тихо... Мелкопоместные дворяне воят, а исправники стегают ежедневно и понемногу... На оброк крестьяне не идут и на новые свои власти смотрят странными глазами..., но в работниках пока нет недостатка, а это самое главное“.<sup>5</sup>

„Дела по крестьянскому вопросу остаются *status quo* до будущего года; надеюсь, однако, уломать здешних

<sup>1</sup> Современник, 1861, кн. III и IV. — Я не знаю, кому принадлежит заглавие этой публикации; если Чернышевскому, то на фоне „Писем без адреса“ саркастический его смысл не подлежит сомнению.

<sup>2</sup> Герцен, т. X, стр. 224.

<sup>3</sup> Герцен, т. X, стр. 218.

<sup>4</sup> Там же, т. XI, стр. 94.

<sup>5</sup> Письмо Анненкову, 10 июня 1861 г. (Анненков. Литературные воспоминания стр. 546; разрядка моя. И. В.).

крестьян на подписание уставных грамот. До сих пор они очень упорствуют и носятся с разными задними мыслями, которых, разумеется, не высказывают".<sup>1</sup>

Приведенных отрывков из переписки И. С. достаточно, чтобы судить о его позиции: пред нами прежде всего помещик, крупный земельный собственник, программа которого опиралась на классовый интерес, борьба которого обусловливалась и диктовалась классовым интересом. Борьба с теми, кто отражал и представлял „задние мысли“ мужика, для И. С. Тургенева естественна и закономерна.

Совершенно очевидно, что концепции, объяснявшие (и объясняющие) разрыв Тургенева с „Современником“ и всю его борьбу с представлявшимся этим журналом направлением, как расплю двух поколений, не сходившихся „в вопросах литературно-эстетических и в вопросах литературно-общественных“, должны быть решительно осуждены и отвергнуты, как неправильно трактующие историко-литературный процесс, выключающие из него проблему крестьянской революции, укрывающие контрреволюционную роль российского либерализма в русской истории.

Революция и контрреволюция — вот те позиции, которые занимал „Современник“ с Чернышевским и Добролюбовым во главе, с одной стороны, и русский либерализм, в лагере которого боролись Тургенев, Кавелин и др., — с другой, и этого никакой путаной и абстрактной терминологией за- слонить нельзя...

„... Тургенева [...] тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции [...] ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского“, — говорит о Тургеневе Ленин<sup>2</sup> — и мы видели, чем была обусловлена эта тяга.

### 3

Разрыв Тургенева с партией крестьянских демократов не мог закончиться только информирующими общественное мнение сообщениями сторон о разрыве. Тургенев был тем-

<sup>1</sup> То же, 6 (18) августа 1861; там же, стр. 548.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., т. XXII, стр. 467.

пераментным бойцом — и молча отойти в сторону не мог. Логика начатой борьбы требовала ее продолжения. Оружием Тургенева было художественное слово и, вооруженный им, он вступил в открытую борьбу с революционным демократизмом. „Отцы и дети“ были его нападением на лагерь революции; образ Базарова — разоблачением революционера-демократа.

Впоследствии составилась огромная литература по вопросу, чем был по авторскому замыслу роман Тургенева, чем был образ Базарова — разоблачением ли нигилизма или апофеозом демократии, или же, наконец, автор стоял на объективной точке зрения и зафиксировал в очередном романе очередное явление русской жизни, как он его понимал. В дискуссии по этому вопросу весьма деятельное участие принял и сам Тургенев — в предисловиях к отдельным изданиям романа, в специальной статье-воспоминаниях, посвященных истории создания и опубликования романа, в многочисленных письмах к различным лицам — Герцену, Случевскому, Анненкову, Авдееву, Достоевскому и др., причем от участия в дискуссии автора предмет спора, как увидим ниже, не стал яснее. Спор не закончен и до нашего времени. Два высказывания по этому вопросу, имевшие место в последнее время, диаметрально противоположны.<sup>1</sup>

Роман имел также и свою поучительную предисторию: целые дискуссии происходили между Тургеневым и его друзьями, между автором и его издателем — М. Н. Катковым. Достоверные подробности содержания этих дискуссий до нас, к сожалению, полностью не дошли, но из всех сообщений, какими мы располагаем, ясно одно: у Тургенева требовали снизить тип Базарова, требовали более прямолинейного, более грубого нападения; И. С. на это не шел, несмотря даже на обвинения в „апофеозе «Современника»“.

Друзья Тургенева поняли смысл романа, как понимал его сам автор, довольно поздно.

„... вместе с Базаровым“, записал в своих воспоминаниях П. В. Анненков, „было найдено и меткое слово,

<sup>1</sup> Ср.: Л. В. Пумпянский. „Отцы и дети“. Историко-литературный очерк (Тургенев. Сочинения, ГИЗ, 1930, т. VI, стр. 167—168), и И. К. Ипполит, „Политический роман 60-х гг.“ (Литература и марксизм, 1931, кн. 1, стр. 38—60).

хотя вовсе и не новое, но отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили,—нигилизм. Едва произнесенное оно было подхвачено... Подсказанное слово дало содержание целым трактатам и воззрениям".

Анненков совершенно верно определил историческое значение романа „Отцы и дети“ и его современное звучание. Тургенев „нигилизмом“ ответил Добролюбову на „обломовщину“<sup>1</sup> — и ответил более эффективно, чем в свое время А. И. Герцен.<sup>2</sup>

„Нигилизм“ — стал кличкой, обобщением всего того, что противостояло принципам и системе, защищавшейся Тургеневым и его классом. Не люди, а мировоззрение, представили в романе на суд общественного мнения, — мировоззрение, противопоставившее себя мировоззрению либерализма, отрицавшее последний и боровшееся с ним. Этого не понимали друзья и единомышленники Тургенева, порицавшие автора за сочувственное отношение к базаровскому типу.

Тургенев был действительно прав, когда он впоследствии оправдывался от обвинения в глумлении над своим героем; но он был неправ, когда „почти“ солидаризовался с убеждениями Базарова, т. е. с мировоззрением, которое он сам, словами Павла Петровича Кирсанова, определил, как нигилизм, как „существование в пустоте, в безвоздушном пространстве“.<sup>3</sup>

К роману „Отцы и дети“ в большей степени подходило название „Very dangerous!!!“, которым Герцен озаглавил статью, направленную только против одной черты „нигилистического“ мировоззрения, — отрицательного отношения революционной демократии к мелкому, поверхностному обличительству: „очень опасно“ для создавшегося пореформенного порядка было все мировоззрение революционного демократизма — и смысл тургеневского романа был в том, что

<sup>1</sup> Хотя слово „обломовщина“ употреблено впервые самим И. А. Гончаровым в романе же, но действительным автором термина, несомненно, следует считать Н. А. Добролюбова, впервые раскрывшего его социальный смысл.

<sup>2</sup> В статье „Лишние люди и желчевики“.

<sup>3</sup> Тургенев. Соч., ГИЗ, 1930, т. VI, стр. 206; все дальнейшие ссылки делаются на это издание, в сокращенной форме: Тургенев, с указ. тома и страниц.

он сигнализировал эту опасность, указал ее своевременно, поднимая на борьбу с ней весь помещичье-дворянский лагерь, которому опасность угрожала.

В редакции „Современника“ верно расценили силу наносимого удара и готовились к отпору. Но разразившаяся над „Современником“ гроза — арест Чернышевского и временное закрытие журнала — и месяцы предгрозового лишали руководство журнала возможности дать организованный отпор. Критическая статья М. А. Антоновича „Асмодей нашего времени“, очевидно, была только началом отпора; написанный в крепости роман „О новых людях“ самого Чернышевского не мог стать предметом обсуждения и сопоставления с романом Тургенева, так как роман Чернышевского скоро стал нелегальным.

Круг „Современника“ был единодушен в оценке тургеневского романа. В первой же книжке журнала, вышедшей после вынужденного восьмимесячного молчания, против Тургенева и его романа выступил М. Е. Салтыков-Щедрин в неподписанном фельетоне „Наша общественная жизнь“.<sup>1</sup> „Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым... Летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах — «благонамеренные» воспользовались этим, чтобы обвинить нигилистов... Вот какую странную услугу оказал г. Тургенев“. — Так разоблачал Щедрин преступление Тургенева против демократии.

„Хорошо, что он заблагорассудил уморить Базарова почти насильственной смертью“, — продолжал фельетонист, — „но что было бы, если бы Базаров выдержал, если бы пришлось писать вторую часть романа и показать Базарова не в соприкосновении с госпожою Одинцовою и братьями Кирсановыми, но с жизнью действительной, если бы, одним словом, пришлось изобразить Базарова деятелем общественным и политическим? Ужели же и впрямь оказалось бы, что выводы, делаемые людьми благонамеренными, суть выводы, вытекающие из самого романа?“<sup>2</sup>

На этот в упор поставленный вопрос — как представляет себе Тургенев революционную деятельность Базарова, —

<sup>1</sup> „Современник“ 1863, кн. I—II.

<sup>2</sup> Там же, стр. 370.

романист дал ответ через 15 лет, представив в действии идейных потомков Базарова. Ответ этот был таков, что вызвал взрыв негодования у ставившего в 1863 г. свои вопросы Щедрина: „старый болтунище! ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья!“<sup>1</sup>

Негодование работников „Современника“ против Тургенева и реакционной тенденции его романа было устойчивым.

В середине 70-х гг. между Щедриным и Тургеневым произошел обмен писем по вопросу об „Отцах и детях“; сатирик что-то резкое писал Тургеневу о его выступлении в 1862 г.<sup>2</sup>

В 80-х гг. Г. З. Елисеев с волнением переживал вновь это событие, когда набрасывал фрагменты своих записок. Приводим один из этих фрагментов.<sup>3</sup>

„Тургеневу пришла на ум злостная мысль сделать маскарад, заставить действовать перед публикой и людей старых, и тех, которых якобы Добролюбов называет людьми новыми, для чего под видом новых людей вывести тех же людей старых, т. е. имеющих с ними одинаковые мысли, чувствования и тенденции, но находящихся еще в школьном возрасте. Подходящих для подобной цели балбесов можно было набрать сколько угодно — была бы только охота. Для предложенной Тургеневым цели маскарад был тем более с руки, что «Современник» вообще стоял горой за молодое поколение и на него возлагал все надежды в будущем...“

„Тургенев взял в представители новых людей несколько лиц, преимущественно из учащегося молодого поколения — и пошлых, и пустых, и глуповатых — и поставил во главе их медицинского студента Базарова, на которого все они смотрят с благоговением, как на вождя. Этот вождь выдается из всех других значительной наглостью и нахальством, уменьем складно говорить, изрекать при случае меткие и резкие фразы, вроде афоризмов, притворяться завзятым материалистом, в удостоверение чего постоянно занимался резаньем лягушек, ни во что не верил, все отрицал, как в теории, так и на практике жизни, с презрением насмехался над всем, составлявшим для других предмет благого-

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма, Ленинград, 1924, стр. 158.

<sup>2</sup> Письмо Салтыкова неизвестно; ответное письмо Тургенева — см. ниже.

<sup>3</sup> Цит. по рукописи (Пушкинский дом Ак. Наук СССР).

вения. Это был чистейший нигилист, как и назвал его автор, которому во всем стремились подражать все остальные персонажи, выведенные автором под именем новых людей.

„Всю эту банду «новых людей» автор отправляет в наши провинциальные палестины... пошлое блокитство, дебоши, скандалы, пьянство, бесцельное шатание из одного места в другое — вот в чем проходит все время этой банды странствующих якобы новых людей.

„Свою новую повесть Тургенев назвал «Отцы и дети». Представляя ее читателям, он как бы говорил им: вот вам новые люди, которых приготовляет «Современник» из учащейся молодежи; рядом с ними я изобразил и старых — посмотрите: которые из них лучше?..

„Слово «нигилист» сделалось почти озарением для всех... и всем стало ясно, какая-такая преступность заключается в «Современнике»...“

И Елисеев теснейшим образом связывает последовавшую в 1862 г. реакцию с романом Тургенева, подчеркивая, что сигнал бедствия, выкинутый в романе автором, послужил сигналом к разгрому „Современника“.

„... когда весной 1862 года случился страшный пожар, уничтоживший Апраксин и Щукин дворы, молва не усомнилась признать виновниками этого пожара нигилистов... пожар точно и действительно был признан делом нигилистов — и вместе с этим закрыт был на восемь месяцев «Современник», а бывший руководитель его немедленно был заключен в крепость“.

Приведенные отрывки составляют часть рукописи, над которой автор работал в конце 80-х гг.; по прочим частям сохранившегося рукописного наследия Елисеева совершенно ясно, что Елисеев 80-х гг. довольно далек от Елисеева-шестидесятника. В другой рукописи этого же периода Елисеев иначе относится и к Тургеневу, — благожелательнее и теплее, — и тем увереннее можно считать приведенное выше свидетельство об „Отцах и детях“ действительным отзывом былых настроений и самого Елисеева, и всего редакционного круга „Современника“.

И хотя в свидетельстве Елисеева имеется некоторое преувеличение субъективного момента в поведении Тургенева, значительное упрощение и авторского замысла, и образа Базарова, но объективный смысл и объективное значение

романа переданы совершенно верно и в полном соответствии с фельетоном Щедрина, несмотря на протекшие 25 лет. Роман действительно сигнализировал общественную опасность распространения идей, проповедывавшихся со страниц „Современника“; роман действительно искажал основные черты философского и политического мировоззрения „новых людей“ („маскарад“); лозунг — „борьба с нигилизмом“ действительно стал лозунгом, под которым проходила реакция в 60-е гг. и позже.

Елисеев, как видно из приведенного отрывка, отрицает за Базаровым право считать себя материалистом. Отрицал за Базаровым это право и Герцен: „ты несправедлив к серьезному материалистическому мировоззрению и смешиваешь его с каким-то грубым хвастливым материализмом, но ведь это вина не материализма, а тех «Неуважай-Корыто», которые его по-скотски понимают“. <sup>1</sup>

Вряд ли Герцен прав; вряд ли может быть речь о смешении Тургеневым двух систем материализма. Автор „Отцов и детей“ был широко философски образован, готовился занять кафедру философии и не мог, конечно, смешать фейербахианского материализма с вульгарным материализмом Бюхнера и Молешотта.

Нам представляется, что утвердившееся о Базарове мнение, как об ученике и последователе Бюхнера, имеет мало оснований в тургеневском тексте, и И. С. совершенно прав, когда утверждает, что „«Stoff und Kraft» [Базаров] рекомендует именно как популярную, т. е. «пустую книгу», пригодную лишь на первый случай для разрушения идеалистических настроений“. <sup>2</sup> Тургенев просто лишил своего героя видимой принадлежности к какому-либо философскому учению, оставил его и здесь „в пустоте“: надо вспомнить, что Базаров и философию считал „романтизмом“. <sup>3</sup>

Нельзя, конечно, считать Базарова учеником Бюхнера по разговору с деревенскими ребятишками, на котором,

<sup>1</sup> Герцен, т. XV, стр. 109.

<sup>2</sup> Тургенев — К. К. Случевскому, 14(26) апреля 1862 г. (Щукинский сборник, VII, М., 1907, стр. 320).

<sup>3</sup> Тургенев, т. VI, стр. 230. — В дальнейшем ссылки на текст по названному изданию см. при цитатах.

в свое время Катков строил против Базарова обвинительный акт:

„[Базаров]... уверен, что естественные науки ведут к отрицательному решению... вопросов [о первых причинах], и они [естественные науки. И. В.] нужны ему... для вразумления людей в той вдохновительной истине, что никаких первых причин не имеется и что человек и лягушка — одно и то же“.<sup>1</sup>

Как будущий врач, как представитель естественно-научной дисциплины, Евгений Васильевич — материалист и на вопрос о „первоначинах“ мог бы ответить, как позже отвечал на вопрос о своем мировоззрении сам Тургенев:

„Я преимущественно реалист... ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю“.<sup>2</sup>

Занятия же Базарова естествознанием вытекали из его студенческих занятий и никакой другой цели, тем более философской, не преследовали. Это после рьяные поклонники писаревского реализма резание лягушек возвели в степень атрибута радикальной мысли.

И тем не менее Герцен и Елисеев, отрицавшие в Базарове материалистическое мировоззрение, правы: под материализмом оба они понимали научный для того времени материализм Фейербаха, а Елисеев — сверх того — фейербахианство, преобразованное Чернышевским. Отличительными чертами этой русской модификации фейербахианства являлись: острый интерес к социальным проблемам, партийно-политическая окрашенность всех настроений, ярко выраженный социальный оптимизм и этическое обоснование социальной борьбы и жертвенности; человек, его счастье — вот конечный смысл всей проблематики русского фейербахианства. Базаровское мировоззрение ничего общего с этим не имеет. Основа мировоззрения Базарова — глубочайший философский пессимизм:

„... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно, в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед

<sup>1</sup> Русский вестник, 1862, кн. VII, стр. 406.

<sup>2</sup> Письмо к М. А. Милютиной от 22 февраля (6 марта) 1875 г. (Русская старина, 1884, кн. I, стр. 193).

вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!

„... они вот, мои родители то-есть, заняты, не беспокоятся о собственном ничтожестве, он им не смердит... а я..., Я чувствую только скуку да злость“. (стр. 298).

Философский пессимизм Базарова ничего не имеет общего с Фейербахом; это — пессимизм самого Тургенева, он перекликается со многими его письмами, и более ранними, и более поздними, с более ранними и более поздними его произведениями („Дым“, многие из „Стихотворений в прозе“ и пр.). Его основа — индивидуалистическая философия Шопенгауэра, и в полном согласии с ней находится социальный пессимизм и самого Тургенева, и Базарова.

В цитированном выше письме к К. Случевскому Тургенев заявляет о Базарове: „... если он называется нигилистом, то надо читать революционером“.

Нам дальше придется говорить специально о „революционности“ Базарова, здесь только отметим, что в его теоретическом мышлении нет никаких предпосылок к революционной практике.

Пессимизм Базарова не дает ему ответа — „на какой стороне правда“ (стр. 299), оправдывает право сильного (там же), утверждает беспринципный эгоизм, глубочайшую безидеинность — качества, которые стояли в резком противоречии с учением Чернышевского и которые он огнем выжигал в своей аудитории.

„... ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасиба не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?“ (стр. 300).

Пессимизм дошел до предела в своем выражении — до цинического оправдания, если не до проповеди, обществен-

ной инерции, абсентеизма, нейтральности в исторической борьбе человечества, до высочайшей степени общественного индифферентизма — а отсюда один шаг до человеконенавистничества, до принципиальной мизантропии:

„Какую клевету не возведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз ~~уже~~ того“ (стр. 301).

Вывод вытекающий из всей системы взглядов Базарова, действительно только один: „Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером“ (стр. 299).

Но тогда нет революционера — и автор к теории Базарова присоединяет новый элемент — психологический:

„... тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними“ (стр. 299).

И Базаров, видимо, возится: возится и там, в Петербурге, если не мистифицирует только Ситникова и Павла Петровича, возится и здесь, в деревне. Во имя чего? Потому что „самоломанный“, т. е. себя переламывает вопреки своим теоретическим убеждениям, спасается в „возню“ от самого себя, от пустоты, в которой живет, никого не любя, от „бездушного пространства“: „тоска одолеет“.

Но „возня“ с людьми, действенность — предполагают программу; базаровская программа только отрицание:

— В теперешнее время полезнее всего отрицание, — мы отрицаем.

— Всё?

— Всё.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Все — с невыразимым спокойствием повторил Базаров“ (стр. 230).

Это был ответ Павлу Петровичу на вопрос, предложенный в первую схватку, но оставшийся тогда без ответа:

„... насчет других, в людском быту принятых постановлений, вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров“ (стр. 209).

Наделив Базарова пафосом отрицания, Тургенев был прав: революционная демократия учением Чернышевского и Добролюбова действительно отрицала начисто все то, чем дер-

жилась дворянская гегемония в политике, в экономике, в культуре,— от дворянского искусства и эстетических канонов, до этики, религии и монархии. Но на этом идентичность базаровского сознания с мировоззрением Чернышевского и Добролюбова и кончается. Последние очень хорошо знали, что следует за стадией отрицания; Базаров категорически отказывается от участия в дальнейшем:

„— Вы всё разрушаете[...] Да ведь надобно же и строить“.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить“ (стр. 230).

Больше того—расхождение заходит так далеко, что Базаров начинает повторять мысли самого автора в оценке общины и других „устоев“ народной жизни (стр. 234); свою критику обличительства, которая как будто роднит его с Добролюбовым, Базаров переводит в такую плоскость, что под ней подписался бы любой представитель либерализма (стр. 232). Свое „отрицание“ Базаров заканчивает сентенцией о мужике, выхваченной прямо из крепостнического арсенала доводов против „эмансипации“:

„... самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам в прок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке“ (стр. 232).

За этим отрицанием нет ничего. Это действительно нигилизм, так что дальнейшие угрюмые и грубые реплики Базарова—маска: ему действительно нечего отвечать на вопрос—что же дальше? Система нигилизма замыкается полной безысходностью, совершеннейшим *nihil*, не оправдывающим ни отрицания, ни ломки.

Революционные разночинцы имели все основания квалифицировать мировоззрение Базарова так, как они его квалифицировали: в философии это „маскарад“, т. е. подмена фейербахианства шопенгауэровым пессимизмом; в социальном отношении—общественный пессимизм, издевательство над всякой социальной теорией, системой, над идеальными побуждениями революции, над самой революцией.

Нигилизм, приписанный Тургеневым демократии, был отвергнут последней со всею решительностью и негодованием, как клевета классового врага. Объективно нигилизм и яв-

лялся клеветой на мировоззрение революции; его клеветническая сущность усиливалась тем, что автор носителю нигилистической теории, Базарову, придал внешние черты сходства с представителями революционного разночиния; помимо указанного выше отрицательного отношения к дворянской культуре, Базаров, кроме того, демократ до кончика ногтей и горд своим демократизмом; он органически не переносит барства, он — рационалист, он — образ человека с большими силами ума и воли.

С кого писал Тургенев этот портрет, мы не знаем; сам автор заявляет: „в основание главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года)“.<sup>1</sup> Но в фигуре Базарова современники узнавали не провинциального врача: „Если бы писавши, ты забыл о всех Чернышевских в мире“, читаем в письме Герцена к Тургеневу, „было бы для Базарова лучше“.

В редакции „Современника“ в Базарове узнавали Добролюбова; обхождение Базарова с Павлом Петровичем многим напоминало обхождение Добролюбова с самим Иваном Сергеевичем.

И все-таки „Отцы и дети“ не заключают в себе пасквильных элементов. Тургенев умел отдавать должное сильному врагу — и относился к личности Добролюбова и Чернышевского со всей серьезностью. Несомненно, что и самый психический склад суровых крестьянских революционеров (Чернышевского и Добролюбова) интересовал Тургенева как художника. Имеет ли под собой основание известие о том, что, вдумываясь в образ Базарова, Тургенев вел от его имени дневник, — мы не знаем, но что Тургенев работал над образом много и напряженно — и не только под влиянием друзей и советчиков, но и по внутренним побуждениям — этому имеются документальные доказательства.

Впоследствии Тургенев неоднократно расписывался в своей симпатии к личности Базарова. Об этом он писал не только тем людям, в мнении которых не хотел уронить себя как широкого и гуманного либерального художника (Случевский, Герцен), но и более близким людям, с которыми

<sup>1</sup> Тургенев, т. XI, стр. 459.

в этих вопросах мог быть искреннее — Анненкову, Фету и др. И не только отношение Тургенева к образу Базарова зафиксировано в переписке писателя; оно сказалось и в той борьбе, которую автор вел против друзей (напр., Тютчевых), против Каткова, настаивавших на снижении образа. Тургенев не соглашался на это, так что Каткову в специальной статье в „Русском вестнике“ пришлось придать образу Базарова тот смысл, какой он хотел бы вычертить из романа.

В письме Тургенева к Герцену от 28 апреля 1862 г. имеется следующее его заявление об отношении к образу Базарова:

„... при сочинении Базарова я не только не сердился на него, но чувствовал к нему «влеченье, род недуга», — так что Катков на первых порах ужаснулся и увидал в нем апофеозу «Современника»... Еще бы он не подавал собою «человека с душистыми усами» и других! Это торжество демократизма над аристократией. Положа руку на сердце, я не чувствую себя виновным перед Базаровым. Если его не полюбят, как он есть, со всем его безобразием, значит, я виноват и не сумел сладить с избранным мною типом. Штука была бы неважная представить его идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его, это было трудно... но я хочу только отклонить нарекание в раздражении против него. Мне, напротив, сдается, что противное раздражению чувство светится во всем, в его смерти и т. д.“.<sup>1</sup>

Итак — Базаров безобразен, Базаров — волк и все-таки „оправдан“ автором, даже „любим“; отсюда героичность этого образа, его мощная диалектика, ум и несокрушимая воля. Образ раздвоился: дефектное мировоззрение — и негнущаяся личность; сила, которая все может, — и которая вся ушла на отрицание, на ломку. Сила личности привлекала внимание художника, но практическому мышлению политических единомышленников Тургенева было мало дела до его художественных созерцаний: из романа вычитывалось то, что было бесспорным и для самого автора: Базаров не один,

<sup>1</sup> Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, Женева, 1892, стр. 146. В 1869 г. Тургенев о своем отношении к образу Базарова писал иное: „...«невольное влечение»... — не любовь... Читатель готов и вязать автору небывалые симпатии или небывалые антипатии, чтобы только выйти из неприятной «неопределенности»“ (т. XI, стр. 463).

представлять свою деятельность перед той или другой стороной в том виде, в каком это было необходимо для маневра. Так было и в случае с „Отцами и детьми“.

В той же специальной об „Отцах и детях“ статье-воспоминаниях, о которой речь шла выше, он в 1869 г. писал:

„Выпущенное мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося исторического факта; оно было превращено в оружие доноса, бесповоротного осуждения, почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям... На мое имя легла тень“.<sup>1</sup>

Тургенев отрицает, таким образом, не говорим — объективное свое участие в борьбе реакции 1862 г. с „нигилизмом“, — но и субъективные свои враждебные „нигилизму“ настроения, в связи с той демагогией, которую развило правительство в борьбе с революцией. Настроения же эти были определенно враждебные, и провокацию правительства сам Тургенев склонен был принять за истину:

„Неизвестность о том, действительно ли участвовали агитаторы в поджогах, мучительна“, пишет он Анненкову 12 июля 1862 г., т. е. после майских пожаров, „это бессмысленное самоистребление, это преступление, наконец. Вот до чего мы дожили, вот куда должна была притти неизбежная реакция после 30-летней тьмы“.<sup>2</sup>

Другие письма И. С., интимные и официальные, с неоставляющей сомнений очевидностью определяют его действительное отношение и к „выпущенному“ им „слову“, и к использованию его теми, кому это было выгодно.

<sup>1</sup> И. С. Тургенев, т. XI, стр. 465. — См. также в письме к М. Е. Салтыкову от 3 января 1876 г.: „... Я готов сознаться (и уже печатно сознался в своих Воспоминаниях), что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину — и потому я признаю справедливым и отчуждение от меня молодежи, и всяческие нарекания“. (Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884., стр. 278).

<sup>2</sup> Анненков. Литературные воспоминания, стр. 55.

„... Очень хочется мне пробежать «Современник», читаем в письме к тому же Анненкову от 17 февраля (1 марта) 1863 г.: „Как-то они меня там уснащивают? Видно я им сильно насолил. И... впредь солить буду“.<sup>1</sup>

„Вызывать меня теперь [привлечение по делу 32-х; см. ниже, *И. В.*]... после «Отцов и детей», после бранчливых статей молодого поколения... — это совершенно непонятный факт“ (Анненкову — 7/19 января 1863 г.).<sup>2</sup>

„Вчера у нас было заседание нашего общества помощи нуждающимся литераторам. Ждали вопросов со стороны нетерпеливых, тех, кого здесь, с моей легкой руки (я впервые ввел это слово в «Отцах и детях»), зовут нигилистами; нас они находят чересчур благородными“ — и т. д. (Виардо 3/15 февраля 1866 г.).<sup>3</sup>

И друзья Тургенева совсем не так расценивали отношение И. С. к „выпущеному слову“, как он представляет в статье-воспоминаниях.

К бешено-реакционному письму Боткина от 6 июля 1863 г. М. Лонгинов делает приписку:

„Все это [контрреволюционное движение 62—63 года. *И. В.*] есть счастливая реакция против нелепостей, которые овладели было влиянием при минутном господстве всяческого нигилизма, ниспровержению которого ты так много способствовал и даже подал первый сигнал к восстанию против него“.<sup>4</sup>

В опубликованных письмах самого И. С. и к Боткину и к Лонгинову не находим протеста против приписывавшейся ему чести считаться первым ниспровергателем нигилизма.\*

Доверие правительства Александра II к писателю не было поколеблено даже уличением его в связях с лондонскими эмигрантами. Формальная сторона дела требовала включения Тургенева в список обвиняемых и вызыва из-за границы в судебное заседание Сената. Тургенев трусил и долго оттягивал приезд, переписываясь с судьями и с самим царем, — наконец явился. Первые же встречи его (на нейтральной

<sup>1</sup> Наша старина, 1915, кн. I, стр. 79; разрядка моя. *И. В.* — Речь идет о цитированной выше статье Щедрина.

<sup>2</sup> Анненков. Литературные воспоминания, стр. 569.

<sup>3</sup> Письма И. С. Тургенева к г-же Виардо (60-е гг.). Перевод З. Журавской. „Современный мир“, 1911, кн. XII, стр. 176.

<sup>4</sup> Боткин и Тургенев. Переписка, стр. 178.

почве) с представителями петербургской администрации и даже с представителями III Отделения показали ему совершенную для него безопасность предстоящего судебного процесса. Письма его к П. Виардо по этому случаю в высшей степени характерны:

„Князь Долгорукий (вы послушайте только!), — глава и начальник всей полиции империи, один из влиятельнейших сановников, подошел ко мне и несколько минут беседовал со мной; князь Суворов был со мною в высшей степени любезен; все это доказывает, что во мне не видят заговорщика“ (11/23 января 1864 г.).

И в том же письме:

„Спешу сообщить вам результат моего вторичного посещения Сената. Он вполне благоприятный. Не было даже очной ставки; удовольствовались тем, что вручили мне весь dossier моего дела (что, в скобках, является доказательством огромного ко мне доверия), указав мне страницы, на которых упоминается мое имя... Я написал несколько замечаний, которые, повидимому, вполне удовлетворили моих судей... Меня даже не допрашивали. Мои шестеро судей предпочли поболтать со мной о том, о сем — и то в продолжении каких-нибудь двух минут... и т. д. (запись от 13/25 января 1864 г.).<sup>1</sup>

Тургенев, конечно, был по суду оправдан, в числе 15, хотя как увидим ниже, его связи с эмиграцией были не всегда невинными и не всегда имели характер борьбы. Для полноты картины напомним результаты процесса для остальных его участников. Двое попали в Сибирь (Ветошников и Н. Серно-Соловьевич), трое изгнаны из пределов страны (Кельсиев, Касаткин, А. Серно-Соловьевич); одни — „за имение у себя воспрещенных законом сочинений и изображений“, другие „за недонесение“ — попали под надзор полиции, и все отбыли более или менее длительное предварительное заключение, в котором двое умерло.<sup>2</sup>

Так была отмечена заслуга либерального писателя перед реакцией в критический момент 1862 г.

Об этой заслуге помнили долго.

Лозунг борьбы с „нигилизмом“ вновь явился ведущим в политике правивших классов в 1866 г., когда стало ясно, что

<sup>1</sup> „Современный мир“, 1911, кн. XII, стр. 165.

<sup>2</sup> Мих. Лемке. Очерки освободительного движения 60-х гг. Процесс 32-х

И. С. Тургенев

ударами реакции 1862-63 гг. революция не была разбита. Знаменательным показателем этого явился выстрел Каракозова. После 4 апреля 1866 г. заслуга Тургенева, в указании и объяснении революционной опасности еще в 1862 г., была вновь на языке у буржуазно-помещичьей прессы.

Как известно, Каракозов несколько дней не отвечал на допросах, не давал о себе никаких сведений и назвал себя только 14 апреля. Пресса терялась в догадках. „Петербургский листок“ в статье „Сведения о преступнике“ (от 9 апреля, № 54) заявлял:

„Из разговоров видно, что он [„преступник“] получил известной степени образование, но то образование, которому знаменитый наш романист-художник дал меткое название нигилизма“.

Под знаком борьбы с нигилизмом прошла вся террористическая деятельность муравьевской комиссии: как „нигилисты“ были рассажены по тюрьмам и казематам виднейшие деятели демократического крыла литературы — бр. Курочкины (В. С. и Н. С.), Елисеев, Зайцев, Благосветлов, Минаев, Слепцов; как органы „нигилистического“ направления были закрыты „навсегда“ — „Современник“ и „Русское слово“.

Отношение самого И. С. к событию 4 апреля и ко всему, что за ним последовало, хорошо известны из его переписки с Анненковым.

„Вы легко... можете представить чувства, возбужденные во мне известием о безобразном событии в Петербурге... Нельзя не содрогнуться при мысли, что стало бы с Россией, если бы это злодейство удалось... Ни о чем другом писать нельзя: мысль слишком исключительно поражена этим фактом“ (6/18 апреля 1866 г.).<sup>1</sup>

„С великим удовольствием вычитал я в журнале о состоявшемся адресе от нашего общества [Литературный фонд. И. В.]. Нужно, конечно не для нас, а для наших недоброхотов, чтобы в литературе высказалось отвращение к безобразному поступку этого человека, которого я никак не могу признать за русского“ (12/24 апреля 1866 г.).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Анненков. Литературные воспоминания, стр. 588.

<sup>2</sup> Там же, стр. 589. Ср. науськивания „Московских ведомостей“, из номера в номер писавших, что „преступник“ — поляк из того же лагеря, откуда вышли Сераковский, Огрызко, Домбровский.

Когда в 1862 г. „Современник“ был приостановлен временно, Тургенев писал:

„Мое старое литературное сердце дрогнуло, когда я прочел о запрещении „Современника“. Вспомнилось его основание, Белинский и многое... Мне кажется Головин [министр народного просвещения. И. В.] потопился“. <sup>1</sup>

В 1866 г., когда „Современник“ был закрыт „навсегда“ и его сотрудники томились в Петропавловской крепости, „старое литературное сердце“ И. С. дрожало за жизнь царя и за бытие строя, который был заложен в начале описываемой нами эпохи соглашением либералов с крепостниками. Логика классовой борьбы была сильнее воспоминаний юности, и „династического английского склада“ либерал оставался верен своим принципам. Боткин отражал не только свое личное мнение, когда в 1866 г. подводил итоги каракозовскому делу:

„Ты, верно, прочел в «Северной почте» статью о результатах следствия Муравьева. Я думаю, что картина нашего молодого поколенья, изображаемая им, вообще верна. Дикое ученье социализма совершенно пришло по плечу нашему учащемуся пролетариату, невежественному, варварскому, фанатическому... вот в какой сук пошла культура в России... Сколько тут глупости, тупости, малолетства и безмыслия. И не очевидно ли... что правительство представляет собою принцип культуры и цивилизации, преследуя адептов этого нового варварства? И притом это не просто книжные невинные теории, — теперь мы знаем, что из них может выходить и к каким общественным смутам они могут повести“. <sup>2</sup>

Тургенев тоже знал, к чему вело революционное движение 60-х гг.:

„... возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться... [...] Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот [...] удары весел и топоров, треск, как от взлома дверей и сундуков [...] звон набата, и лязг цепей, гул и рев пожара [...] моление жалобное, отчаянное — и повелительные восклицания [...] „Бей! вешай! топи! режь! [...] не жалей!...“

<sup>1</sup> Там же, стр. 559.

<sup>2</sup> В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, „Akademia“, стр. 237.

„ — Степан Тимофеевич! Степан Тимофеевич идет!..  
 „ — Фролка! где ты пес? — загремел страшный го-  
 лос: — зажигай со всех сторон — да в топоры их, бело-  
 ручек...“<sup>1</sup>

Тургенев сетовал, что „выпущенное“ им слово было использовано „спасателями отечества“ для борьбы с „движением, охватившим русское общество“: „Кто через двадцать-тридцать лет будет помнить о всех этих бурях в стакане воды?“, заключал И. С. один из фрагментов своего объяснения с прогрессивной частью общества по поводу „Отцов и детей“<sup>2</sup>

Прошло 20 лет. „Буря в стакане воды“ кончилась казнью Александра II. Началась победоносцевская реакция — опять под лозунгом борьбы с „нигилизмом“. Ближайший друг Тургенева Я. П. Полонский имел все основания заявить Победоносцеву, защищая И. С., что последний „любит Россию хотя, может быть, и несколько иначе, чем мы с вами“, но „к нигилизму чувствует такое же отвращение“ (письмо от 2 мая 1881 г.).<sup>3</sup>

С термином, пущенным им в оборот, Тургенев к этому времени окончательно примирился, особенно, когда он принял интернациональный характер для обозначения русского революционного движения вообще. Под названием „истории нигилизма“ на европейских языках стали выходить труды, посвященные истории русской революции.<sup>4</sup> Автор „Отцов и детей“ не только не протестовал против неправильного использования ругательной клички, но в 1879 г. благодарит итальянского автора подобного труда — Arnouldo за присланную книгу и хвалит ее.<sup>5</sup>

У Тургенева нехватало последовательности и выдержки, чтобы окончательно затушевать контрреволюционный смысл своего выступления в 1862 г.

<sup>1</sup> „Призраки“ 1864, „Эпоха“, кн. I — II; цитируется с купюрами по тексту сочинений, т. VII, стр. 333.

<sup>2</sup> Тургенев, т. XI, стр. 465.

<sup>3</sup> Сборник Пушкинского дома на 1923 г., ГИЗ, Петроград, 1923, стр. 289

<sup>4</sup> См., напр., Ernest Lavigne, Introduction à l'histoire du nihilisme russe, Р., 1880, и др.

<sup>5</sup> Русская мысль, 1911, кн. II, стр. 175.

Несмотря на многие попытки помочь этому делу, предпринимавшиеся с различных сторон (см. статьи покойного академика Овсянико-Куликовского в „Истории русской интеллигенции“ и в книге о Тургеневе, попытки проф. Гутьяра и в наше время Л. В. Пумпянского в статье к „Отцам и детям“ в советском издании сочинений Тургенева), марксистская критика, учитывая всю историческую обстановку, в которой разыгрался эпизод классовой борьбы 60-х гг., связанный с написанием и опубликованием „Отцов и детей“, должна, отбросив эти попытки, согласиться с теми из современников и участников борьбы, которые резко и решительно выступали против Тургенева,— с М. А. Антоновичем, Г. З. Елисеевым, Н. Г. Чернышевским, М. Е. Салтыковым-Щедриным и другими. В своем приятии Базарова и оправдании его творца Д. И. Писарев отошел от революционной демократии 60-х гг. и отразил настроения буржуазного радикализма, которому были по плечу и индивидуалистический рационализм Базарова, и его индифферентизм в отношении к народной массе, и его антиреволюционная философская система,— все это, правда, соединенное с отрицанием права дворянского класса на гегемонию, но отрицавшее также и право народа на революцию.

## 4

Нами уже были приведены отрывочные данные, характеризовавшие линию поведения А. И. Герцена накануне реформы 1861 г. Эта линия в известных чертах совпала с общей линией поведения дворянских либералов в России, тем не менее Герцен и на этом этапе не является представителем российского либерализма.

„... Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде“, характеризует В. И. Ленин Герцена интересующей нас эпохи. „Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к „верхам“. Отсюда его бесчисленные слашевые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколе-

ние революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако, справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх".<sup>1</sup>

Мы видели, что классовое чутье изменило однажды и такому суровому борцу против феодализма, каким был Чернышевский; но Н. Г. скоро изжил монархическую иллюзию и в цитировавшемся ранее письме Русского человека вновь является самим собою, верящим только в революционное действие. Иллюзии Герцена продолжались дольше и кончались тогда, когда крестьянству, возмущенному Положением 19 февраля о „земле“ и „воле“, было отвещено кровью и железом.

Полоса колебаний Герцена между демократизмом и либерализмом продолжается, таким образом, от эпохи „краха буржуазных иллюзий в социализме“ (Ленин), т. е. с 1848 г. до 1861 г. С 1861 г. Герцен становится более твердо на демократические позиции; к этому времени и относятся попытки Герцена и Огарева более четко и обстоятельно формулировать программу народнического социализма. Полоса колебаний Герцена в сторону либерализма совпадает с временем наибольшей близости между Герценом и Тургеневым. Отход Герцена от либерализма был временем и расхождения между Герценом и Тургеневым. Эпоха близости обоих писателей была также временем наиболее резкого расхождения Герцена с Чернышевским и Добролюбовым.

Во время этой близости своей с Герценом Тургенев был очень деятельным сотрудником „Колокола“. Пользуясь своим легальным положением за рубежом, он устанавливает связи между лондонской редакцией и живущими в России сотрудниками „Колокола“, собирает разоблачительные материалы, советует, рекомендует, подсказывает темы — почти руководит теми кампаниями против отдельных лиц в администрации и в обществе, которые довольно часто проводил „Колокол“, страшный тогда для крепостников и бюрократов. По совету Тургенева, „Колокол“ направляются удары, усиливаются или вовсе прекращаются:

<sup>1</sup> Ленин. Сочинения, 3-е изд., т. XV, стр. 466—467.

„Неужели ты не отхлестал нашего барина [Александра II. I. B.] за эти гнусные австрийские обеды, напоминающие самую скверную эпоху николаевщины?“ пишет И. С. по поводу затеянного австрийским и русским правительствами свидания двух кайзеров на польской территории, не без расчета нанести этим оскорбление польскому национальному чувству. „... И дело крестьянского освобождения тоже пошло скорой рысью назад“ (6/18 сентября 1860).<sup>1</sup>

И в очередном листе „Колокола“ появляется статья Герцена „Последний удар“:

„Неужели это правда, что кайзер петербургский сближается с кайзером венским?.. Неужели мы доживем с нашими пятилетними надеждами до этого предела и до этой бесконечности позора“. <sup>2</sup>

„Просят тебя очень щадить велик. кн. Конст[антина] Ник[олаевича] в твоем журнале“, передает Тургенев 1 января 1861 г. пожелания своих политических друзей, работавших над проектом крестьянской реформы, „потому что, между прочим, он, говорят, ратоборствует, как лев, в деле эмансипации против дворянской партии, и каждое твое немилостивое слово больно отзывается на его чувствительном сердце“. <sup>3</sup>

Нападки „Колокола“ на Константина после статьи „Константин Николаевич и линьки“ прекращаются; „Рекомендую для страниц «Колокола» Муханова...“ <sup>4</sup> „... не трогай пока Головнина... Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его «представим»...“ <sup>5</sup> и т. д.

В борьбе Тургенева с редакцией „Современника“ Герцен принял решающее участие на стороне Тургенева. Сначала по вопросу об обличительной литературе, затем по вопросу о „лишних людях“ Добролюбову в „Колоколе“ отвечал сам Герцен. Позиция Герцена в этих его выступлениях совершенно очевидна: он защищает либерализм, он борется за него против лагеря революции.

<sup>1</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 124.

<sup>2</sup> Герцен, т. X, стр. 392.

<sup>3</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 132.

<sup>4</sup> Там же, стр. 140.

<sup>5</sup> Там же, стр. 144—145.

„Very dangerous! — Очень опасно!“ предостерегает он „Современник“, начавший кампанию против обличительства, к тому времени из общественной сатиры превратившегося в мелкое обличение мелких недостатков, т. е. в обличение, уводившее читающую массу от основной проблемы — ломки государственного аппарата и новой его организации, — к вопросам либеральной программы: об уничтожении недостатков в существующем строе и в том аппарате, которым этот строй держался. Грозный окрик Герцена с саркастическими советами и предсказаниями „гонителям“ обличительства не приостановили кампании, которая одним своим концом задела и Герцена, и „Колокол“, практиковавших обличительство в самых широких размерах. Но „обличение“ Герценом „Современника“ для последнего являлось совсем не шуточным делом, так как вес и влияние Герцена тогда, в эпоху еще не дифференцировавшихся общественных сил, в глазах общественного мнения были очень велики.

„Мало ли на что есть точить злость“, писал Герцен, „от цензурной тройки до покровительства кабакам, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что, по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греч, но (чего, боже сохрани) и до Станислава на шею!“<sup>1</sup>

Поездка Чернышевского в Лондон, как известно, недоразумения не сгладила, а только определила ту пропасть, которая разделяла два класса. На „обломовщину“ и на вопрос — „когда же придет настоящий день?“ Герцен ответил статьей „Лишние люди и желчевики“.

„Чаадаев... не умел взяться за топор, но умел написать статью, которая потрясла всю Россию... Чаадаева высочайшей ложью объявили сумасшедшим и взяли подпись не писать. Надеждина, напечатавшего статью в „Телескопе“, сослали в Усть-Сысольск... Чаадаев сделался праздным человеком. Иван Киреевский... не умел сапог шить, но умел издавать журнал... запретили журнал... Киреевский сделался лишним человеком. Н. Полевого, конечно, нельзя обвинить в лени... а все-таки крылья „Телеграфа“ подвязали — и призна-

<sup>1</sup> Герцен, т. X, стр. 15.

юсь в моей слабости,— когда я читал, как Полевой говорил Панаеву о том, что он, женатый человек, обремененный семьей, боится квартального, я не смеялся, а чуть не плакал".<sup>1</sup>

Так защищал Герцен Рудиных, Лаврецких, Бельтовых...

Тургенев охотно подписывался под этой защитой: в условиях абсолютной свободы слова Герцен давал сокрушительный по силе и авторитету ответ Добролюбову.

„...сугубо тебе благодарен“, писал Тургенев Герцену 24 октября 1860 г., „...и за нас, лишних, заступился“.<sup>2</sup>

Таким образом, единство Герцена и Тургенева на этапе, предшествовавшем развитию событий, вытекавших из актов 19 февраля 1861 г., было полное.

Мы видели, что и самые акты 19 февраля, не вызвавшие у Чернышевского никакого желания хотя бы в какой-либо степени присоединить голос „Современника“ к хвалебному гулу голосов остальной прессы, побудили Герцена на очередное славословие Александру II; видели также и тот взрыв негодования и ужаса, каким Герцен реагировал на кровавую безднинскую расправу. Изменение позиции Герцена диктовалось всем ходом событий, последовавших за февральскими актами; этими событиями были: во-первых, крестьянские волнения, граничившие с восстанием; во-вторых, яростная атака помещичьего правительства на революционную демократию, в третьих, польское восстание 1863 г.

Решающим моментом было крестьянское движение.

По отчету министра внутренних дел, в 1861 г. произошло 784 крестьянских волнения, охвативших 1666 селений и в 499 случаях усмиренных с применением военной силы; в 1862 г. волнений произошло 388 (499 селений), усмиренных военной силой в 298 случаях. Таким образом, в 1862 г. крестьянское движение принимало характер массового движения; отношение к нему либералов и Тургенева мы видели.

„Крестьяне не поняли, что освобождение — обман; они поверили слову царскому; царь велел их убивать как собак; дела кровавые, гнусные совершились“, — так уяснял Герцен

<sup>1</sup> Там же, стр. 420.

<sup>2</sup> Письма Кавелина и Тургенева Герцену, стр. 128.

самому себе и другим истинный смысл реформы 19 февраля и ситуацию, сложившуюся на другой день после реформы.<sup>1</sup>

Объединения Герцена с Чернышевским не произошло и на этом этапе выработки Герценом новой революционно-демократической программы. Чернышевский считал необходимой для России западноевропейскую культуру, допуская лишь, что всех стадий западноевропейского развития ей проходить не обязательно: используя исторические уроки, опыт Западной Европы, она может пройти мимо некоторых из них и в частности при помощи крестьянской общины развить новые социально-экономические отношения. Герцен стоял на точке зрения решительного отхода от того пути, по которому шла Западная Европа. Статья в „Колоколе“ „Repetitio est mater studiorum“ формулировала новую платформу Герцена: „окончательные выводы“ западноевропейской общественной мысли — социализм — Герцен переносил на „невозделанную почву“.

„... я смело повторяю, что один факт общественного владения землей и передележа полей сам по себе оправдывает предположение, что наша невозделанная почва, наш чернозем способнее для посева зерна, собранного с западных полей, — способнее по стихиям, из которых она состоит, способнее потому, что в ней меньше мусора и всякого рода развалин, чем на западных полях“.<sup>2</sup>

Возникали, таким образом, основы народнической теории; Герцен решительно сворачивал от либерализма к народническому социализму, крестьянской демократии и к революции. Дальнейший совместный путь с ним для либералов был невозможен. Первым из окружавшей Герцена либеральной группы отошел К. Д. Кавелин, поддержавший реакцию 1862 г.

„Я склонил женщину, которую любил и уважал бесконечно, я склонил Грановского материально, я склонил К[етчера], К[орша] психически, Тур[генев] дышит на ладан — и ко всему этому я должен прихоронить тебя“, — писал Герцен Кавелину 7 июня 1862 г.<sup>3</sup>

Упоминание — „Тургенев дышит на ладан“ — и есть намек на те несогласия, которые возникли между Герценом и

<sup>1</sup> Герцен, т. XI, стр. 196.

<sup>2</sup> Там же, стр. 232.

<sup>3</sup> Герцен, т. XV, стр. 198.

Огаревым, с одной стороны, и Тургеневым — с другой. Несобранность и неразработанность литературного наследия Н. П. Огарева затрудняет пока выяснение его роли в построении той системы мировоззрения, которая легла в основу народнической доктрины и его влияния на Герцена; но совершенно очевидно, что, во-первых, роль эта была очень значительна, во-вторых, что именно Огареву принадлежит действенная инициатива в создании первой революционной организации в России.

К осени 1862 г. позиции Герцена — Огарева и Тургенева выяснились в такой степени, что Герцен уже имел возможность говорить о расхождении публично: защищать свою точку зрения и критиковать позицию Тургенева. Это он сделал в ряде статей-писем к неназванному другу, которым был Тургенев. Статьи-письма, знаменитые „Концы и начала“, подводили итоги тем устным спором, которые имели место весной 1862 г.

„Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь“, начиналось первое письмо, „тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве в тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого знойного лета. Тебя не страшит, что дни уменьшаются... и дует иногда струя воздуха, зловещая и холодная; ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колено, дикого разлива рек... вообще нашего упования на будущий урожай, от которого мы отделены бурями... и всем тяжелым трудом, которого еще не сделали... я вполне понимаю и твой страх, смешанный с отвращением, перед неустройством ненаезженной жизни, и твою привязанность к выработавшимся формам гражданственности и при том к таким, которые могут быть лучше, но которых нет лучше“. <sup>1</sup>

Перед этим расставанием недавних спутников была попытка компромисса: было решено отправить царю адрес, на платформе которого попытаться найти общий язык; адрес должен был потребовать созыва земского собора для умиротворения страны. Текст адреса вырабатывался Н. П. Огаревым. <sup>2</sup> И. С., по ознакомлении с текстом, решительно его

<sup>1</sup> Герцен, т. XV, стр. 242.

<sup>2</sup> См. текст адреса в „Письмах Кавелина и Тургенева к Герцену“, стр. 155 и сл.; варианты: Герцен, т. XV стр. 489 и сл.

отверг. В письме к В. Ф. Лугинину, участнику и посреднику переговоров между сторонами об адресе, он подробно мотивирует отказ, и эта мотивировка в высшей степени характерна для позиций либерализма. Тургенев писал 8 октября 1862 г.

„[Адрес] — род обвинительного акта против Положения, а с Положения начинается новая эра...

„Главное наше несогласие с О[гаревым] и Г[ерценом], а также с Бакуниным состоит именно в том, что они... предполагают революционные или реформистские начала в народе; на деле это — совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова... существует только в меньшинстве образованного класса,— и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем“.<sup>1</sup>

Тексту адреса, выработанного Огаревым, Тургенев противопоставляет свою наметку адреса:

„Признав великое благо, основанное Положением, указать на необходимость некоторых дополнений и улучшений, а главное — на настоятельную потребность привести весь остальной состав Русского государства в гармонию с совершившимся переворотом... одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, им начатое“.<sup>2</sup>

Проектом Огарева и программой Тургенева адреса о земском соборе определяются исходные пункты двух систем политической мысли. Проект Огарева исходил из признания неудовлетворительности Положения 19 февраля, из неверия, что правящие классы в состоянии что-нибудь в нем исправить, из мысли о совершенной необходимости свергнуть власть помещиков и заменить ее властью народа, из признания функций учредительного собрания за земским собором, созванным на самых демократических началах, с устранением какого бы то ни было влияния и давления помещиков на ход выборов; программа Тургенева признала незыблемость установленного Положением 19 февраля режима, утверждала за правящим классом творческую силу, способность довести начатое „им самим“ дело до конца,

<sup>1</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 152—153. Подчеркнутое в подлиннике выделено разрядкой.

<sup>2</sup> Там же.

т. е. превратить полуфеодальную монархию в европейское государство; считала, наконец, незыблемой гегемонию дворянства и лишь для „борьбы с безобразиями низшей администрации, суда, финансов и т. д.“ считала нужным земский собор, как парламент.

Вся дальнейшая полемика между Тургеневым и Герценом, закончившаяся в основном к концу 1862 г.—началу 1863 г., ничего принципиально нового к этим разногласиям не прибавляла, уточняя лишь доводы и положения, выдвигавшиеся сторонами.

Первое письмо „Концов и начал“ было опубликовано 1 июля 1862 г.; 27 августа И. С. писал Герцену по поводу его:

„... нашел в них всего тебя, с твоим поэтическим умом, особенным уменьем глядеть и быстро, и глубоко, затаенной усталостью благородной души и т. д.—но это еще не значит, что я с тобой вполне согласен; ты, мне кажется, вопрос не так поставил. Я решился тебе отвечать в нашем же журнале, хотя это не совсем легко...“<sup>1</sup>

Но журнальная дискуссия не состоялась. По словам Тургенева, он „получил официозное предостережение не печататься в «Колоколе»“—и воздержался от печатного выступления, представляя Герцену свои возражения в личной переписке; последнего переписка не удовлетворяла, и он отвечал на тургеневские письма продолжением „Концов и начал“.

Первое из дошедших до нас писем Тургенева этой серии примерно повторяет то, что И. С. писал Лугинину по поводу огаревского проекта адреса (оба письма написаны в один и тот же день).

„... не из эпикуреизма, не от усталости и лени я удалился, как говорит Гоголь, под сень струй европейских принципов и учреждений. Мне было бы 25 лет, я бы не поступил иначе,—не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа“.<sup>2</sup>

Вся аргументация Тургенева направлена против „немецкого процесса мышления, абстрагирующего принципы из едва понятой субстанции народа“:

<sup>1</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 148; разрядка моя. И. В.

<sup>2</sup> Там же, стр. 160.

„Вы... отрекаетесь от революции, потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, — консерватор раг excellence и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самоактивности, что далеко оставит за собой все метковые черты, которыми ты изобразил западную буржуазию”...<sup>1</sup>

„Преклонение перед народом“, как определял Тургенев ставку нарождавшегося народничества на крестьянство, как на единственный революционный класс, было одной стороной теории Герцена — Огарева; другой ее стороной являлось учение о самобытности русского исторического процесса, отрицание необходимости проходить путь развития, пройденный Западом; Тургенев выступает и против этой стороны нового учения:

„... мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе к европейской семье, genus Европаem и, следовательно... должны идти по той же дороге... выбьете по всему, что каждому европейцу, а потому и нам, должно быть дорого, — по цивилизации, по законности, по самой революции... Одно из двух: либо служи революции, европейским идеалам попрежнему, либо, если уж дошел до убеждения в их несостоятельности, имей дух и смелость посмотреть черту в оба глаза... и не делай ясных или подразумеваемых исключений в пользу ново-долженствующего приди рассейского мессии, в которого в сущности ты лично так же мало веришь, как и в европейского“.<sup>2</sup>

Наконец, социалистический стержень в учении старого народничества — третий объект критики Тургенева и при том самой решительной и, как увидим в дальнейшем, резкой:

„Огареву я не сочувствую“, писал он в одном из последних писем полемической серии — от 3 декабря 1862 г., „... потому что в своих статьях-письмах и разговорах он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и т. д., с которыми я не согласен“.

<sup>1</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 161.

<sup>2</sup> 8 ноября 1862 г. (Письма Кавелина и Тургенева Герцену, стр. 175—176).

А в сноске письма И. С. добавляет:

„... Николай Платонович не потому опровергает «Положение», что оно несправедливо для крестьян, а потому, что оно освещает принцип частной собственности в России“.

Итак, „народопреклонение“, отрицание западноевропейского пути развития и социализм — три пункта критики Тургенева в теории Герцена и Огарева.

Решительно отвергая учение о крестьянстве как единственном носителе революционных начал, Тургенев ратует за „образованные классы“, их считает хранителями заветов 1789 г., носителями революционного принципа.

В революции конца XVIII века боролись различные группы третьего сословия — от Мирабо до Бабефа включительно. В письмах к Герцену Тургенев не уточняет понятия „образованные классы“, но по другим документам переписки И. С. мы знаем, что симпатия и сочувствие его не шли дальше „горы“; с якобинцев в истории французской революции для Тургенева начинается то, чему он совершенно не сочувствует.<sup>1</sup> Демократическая революция на основе опыта французской революции им рассматривается как „самоистребление“ образованных классов, и в этом весь смысл его защиты революционных принципов 1789 г.; 1848 г. он не понял, хотя и был его очевидцем и свидетелем, и не принял.<sup>2</sup> По этой причине и защита им европейской цивилизации ничего общего не имела с защитой Чернышевского, который отправлялся от тех же „семян с европейских полей“, ком защищал и Герцен, но желал для них почвы, обработанной всем опытом европейской культуры. Тургенев был за культуру, но против „семян“.

Смысл расхождения Тургенева с Герценом, таким образом, совершенно ясен. Тургенев был против социалистической установки народничества, против демократических его тенденций, против отрицания им европейских путей развития России; Тургенев был за буржуазный переворот в рам-

<sup>1</sup> См. размышления о M-me Roland в письме к П. Виардо от 18 (30) сентября 1850 г. (Вестник Европы, 1911, кн. VIII, стр. 177).

<sup>2</sup> См. № 10 в письмах к П. Виардо. Русское изд.: Письма И. С. Тургенева к г-же Полице Виардо и его французским друзьям, М., 1900, стр. 46 и сл.

ках 1789 г.; за сохранение принципа частной собственности; за руководящую роль „образованных классов“ в эволюции России; за гегемонию прогрессивного буржуазно-помещичьего блока. В одном пункте своей программы, противопоставлявшейся программе Герцена и Огарева, Тургенев был, несомненно, прав и прогрессивен: в защите европейской цивилизации, как необходимого условия исторического развития России; но поскольку он защищал этот принцип с позиций буржуазных, постольку эта защита была на более низком уровне, чем защита того же принципа Чернышевским, и общая его социологическая концепция была реакционна по сравнению с революционной концепцией Герцена и Огарева.

Герцену не был ясен до конца классовый смысл его борьбы с Тургеневым. Отрицание Тургеневым его, Герцена, теории казалось ему результатом усталости, отчаяния, наконец, „нигилизмом“; тогда как на деле дискуссия со стороны Тургенева была активной борьбой за основы либерализма против новой, народнической, теории революционного демократизма в России.

Тургенев имел все основания писать царю в своем оправдательном письме, после привлечения к ответственности за сношения с лондонскими изгнанниками:

„... всякий отдаст справедливость умеренности моих убеждений, вполне независимых и добросовестных“.

Не меньшее право имел он в своих показаниях Сенату характеризовать отношения к Герцену как отношения борьбы:

„... я надеюсь, что мои судьи вспомнят, что сношения, в которых меня обвиняют, носили в последние годы характер полемики, борьбы и что заслуга борьбы с направлением, вредным для государства, не уменьшается от того, что эта борьба и независима, и бескорыстна“. <sup>1</sup>

Нам представляется, что Герцен неправильно истолковал поведение И. С. до суда (письмо к царю) и на суде:

„Корреспондент наш говорит“, писал Герцен в „Колоколе“, „об одной седовласой Магдалине (муж-

<sup>1</sup> Мих. Лемке. Очерки освободительного движения шестидесятых годов стр. 165.

ского рода), написавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она «прервала все связь с друзьями юности».<sup>1</sup>

Разрыв диктовался не только трусостью, а был подготовлен всем предыдущим развитием отношений и имел совершенно принципиальные основания. Тургенев совершенно правильно протестовал против истолкования его поведения на суде „Колоколом“; он послал Герцену документы, какие мог послать, и заявлял в частном письме от 21 марта (2 апреля) 1864 г.

„Признаюсь, не без некоторой гордости вспоминаю я эти ответы [суду. И. В.], которые, несмотря на тон, которым они написаны, внушили уважение и доверие ко мне моим судьям“.<sup>2</sup>

М. Лемке в своем комментарии к ответному письму Герцена замечает относительно правдивости данных Тургеневым Герцену разъяснений: „Разумеется, сказанное им о своих показаниях — неправда“.<sup>3</sup> Неизвестно, что давало покойному исследователю возможность сделать это замечание. Приводимые им самим документы,<sup>4</sup> несомненно отражают существо дела, т. е. тот процесс размежевания, который мы выше наблюдали.

Если официальный тон показаний И. С. не соответствует приятельскому и в основном доброжелательному тону переписки, то ведь не в тоне и не в личных отношениях была суть дела, а в тех принципах, которые отстаивались спорившими сторонами. Герцен так и понял произшедшее, когда в письме, ответном на протест Тургенева, писал ему:

„В твой последний приезд [весна 1862 г. И. В.] я видел, что мы разошлись... Мы испытываем отлив людей с 1863 г. так, как испытывали его прилив от 1856 до 1862 [10 марта 1864 г.].<sup>5</sup>

1863-й год — рубеж в истории дворянского либерализма. Он счастливо закончил внутри дворянско-помещичьего класса

<sup>1</sup> Герцен, т. XVII, стр. 25.

<sup>2</sup> Письма Кавелина и Тургенева Герцену, стр. 181.

<sup>3</sup> Герцен, т. XVII, стр. 127.

<sup>4</sup> Там же, стр. 125—126.

<sup>5</sup> Там же.

борьбу „за меру уступок“ крестьянству и надвинувшемуся капитализму: основная „уступка“ у крепостников была вырвана, и так или иначе крестьянская реформа сделалась совершившимся фактом; предстояли дальнейшие бои за дальнейшее развитие основной реформы, но уже менее принципиальные; некоторая опасность со стороны крепостников оставалась, так как реставраторские тенденции были налицо, но не эта опасность была главною, а опасность демократической революции, грозившей гибелью всему помещичьему классу. Естественно, что борьба с революцией была особенно ожесточенной.

## 5

Продолжением борьбы с группой „Современника“ были „Отцы и дети“. Борьба с Герценом и Огаревым также не кончилась простым отходом Тургенева от „Колокола“: ее продолжением, а вместе и итогом всей борьбы Тургенева в 60-е годы, был новый его роман — „Дым“. Между обоими романами в творческом сознании автора существовала тесная связь как в смысле идейной направленности, так и в смысле целевой установки обоих произведений.

Об отношении самого автора к изображенным в романе „Отцы и дети“ „поколеньям“ создалась, как мы видели, целая литература, отражавшая самые различные мнения. В то время как революционный фланг критики отмечал всю заостренность романа против „детей“, всю снисходительность автора к „отцам“, либеральная критика искала и находила в романе либо елей, изливавшийся на раны общества, примирительную тенденцию автора по отношению к враждующим „поколеньям“, либо бесстрастное вскрывание язв и „отцов“, и „детей“.

„Ни отцы, ни дети — сказала мне одна остроумная дама: — вот настоящее заглавие вашей повести, и вы сами нигилист“ — передает сам И. С. еще одно мнение об „Отцах и детях“.

Тургенев стойко защищал выбранную им после опубликования „Отцов и детей“ позицию — и в переписке, и в позднейших публикациях:

„... Меня уверяют, что я на стороне «отцов»... — я, который в фигуре Павла Кирсанова погрешил против художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал его смешным“.<sup>1</sup>

Элементы авторского осуждения и иронии, несомненно, есть в образе Павла Петровича Кирсанова, но только в нем одном из всей группы „отцов“, за исключением, конечно, Матвея Калязина. В частности, образ Николая Петровича автор очертил с исключительной теплотой и симпатией. Осуждая Кирсанова-старшего, он осуждал аристократизм, для которого требовал демократизации в новых общественных условиях. За вычетом этого Павел Петрович — такой же „молодец“, как и Базаров, и трудно сказать, кто бы был победителем и кто побежденным в споре главы X, не вмешайся в спор автор и не заставь Павла Петровича изрекать противоречивые вещи.

„... Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть — да на что нам она? — Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouiller*, тапёр, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы!...“<sup>2</sup>

Мысли Павла Петровича о западной, европейской цивилизации — излюбленные мысли Тургенева, его основной довод сначала против славянофильства, а затем и против народничества; на них, как увидим дальше, построена вся социальная и философская концепция „Дыма“. Возражений Базарова против „цивилизации“ автор не привел и неожиданно для читателя заставил Павла Петровича защищать так называемые „устои“ народной жизни,<sup>3</sup> чем действительно погрешил против художественной правды и вооружил Базарова неопровергимыми, с авторской же точки зрения, доводами.

Таким образом, уже в 1862 г. Тургенев в борьбе с демократией пытается выдвинуть „западничество“ как аргумент, как оружие. Но тогдашний противник давал мало

<sup>1</sup> Тургенев, т. XI, стр. 462.

<sup>2</sup> Тургенев, т. VI, стр. 233.

<sup>3</sup> Там же, стр. 234.

поворов для борьбы этим оружием: партия „Современника“ была также партией „западнической“, и „Современник“ без устали издевался над славянофильской „самобытностью“.

Мысль же, что борьбу, начатую „Отцами и детьми“, следует продолжать, не оставляла Тургенева и особенно стала для него ясной в процессе развернувшейся вокруг романа дискуссии. Выше уже приводилось письмо И. С. к Анненкову от 17 февраля (1 марта) 1863 г.:

„... очень хочется мне пробежать „Современник“. Как-то они меня там уснащивают. Видно я им сильно насолил. И... впредь солить буду. Они меня хоронят или уже похоронили — но я постараюсь им показать, что я еще жив. Пожалуйста, не верьте тем, которые представляют меня огорченным отзывами «сердитеньких» — они только доказывают мне, что я дело делаю и иду по настоящей дороге“.<sup>1</sup>

С временем написания этого письма совпадает и первая запись Тургеневым „Дыма“, — список персонажей будущего романа, известный по публикации А. Мазона.<sup>2</sup> Запись расположена в черновой тетради между набросками двух официальных писем, датированных — первое 10 декабря 1862, второе — февралем 1863 г., и этим своим расположением совершенно ясно показывает, что Тургенев угрожал „сердитеньким“ новым разоблачительным романом. Правда, среди расшифрованных имен „прототипов“ к персонажам задуманного романа („прототипы“ помечены первыми буквами фамилии при каждом почти действующем лице „Дыма“), — нет имен деятелей „Современника“; „прототипы“ „Дыма“ целиком относятся к группе лиц, которые в свое время так или иначе были связаны с лондонским кругом русской эмиграции, — но это отнюдь не означает, как увидим дальше, что „Дым“ не касается петербургских „сердитеньких“: Тургенев, после дискуссии с Герценом и Огаревым, совершенно правильно объединил и лондонскую, и петербургскую группы в один лагерь революции.

„Дым“ появился только через четыре года после указанной выше записи. Ряд обстоятельств приводит сам писатель

<sup>1</sup> Наша старина, 1915, кн. 1, стр. 79, разрядка моя. И. В.

<sup>2</sup> А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева. „Academia“, 1931, стр. 26 и ел.

в объяснение, почему произошло такое запоздание, но вряд ли эти обстоятельства служили истинной его причиной. Ю. Г. Оксман совершенно правильно указывает на одну из действительных причин этого: тотчас после процесса 32-х Тургеневу неудобно было выступить с декларацией о своем отрицательном отношении к лондонской эмиграции;<sup>1</sup> другой причиной, несомненно, была правительственная расправа с Чернышевским: неуместно было воевать с петербургской группой „сердитеньких“ тотчас после этой расправы, а тем более — до нее, когда Чернышевский томился в крепости, ожидая решения своей судьбы; в отличие от Кавелина, Тургенев не рукоплескал расправе, чинившейся над Чернышевским.

В результате замедления „Дым“, при тогдашней быстроте смены политических ситуаций, явился в некотором роде романом „историческим“: напечатанный после каракозовского выстрела, после террора Муравьева, после разгрома сил демократии и ликвидации польского восстания, — роман описывал „дела и дни“ 1862 г.

В тургеневской и около-тургеневской литературе встречается немало попыток вскрыть ту историческую действительность, которая обусловила содержание, настроения и направленность „Дыма“. Последняя по времени попытка принадлежит Л. В. Пумпянскому.<sup>2</sup> Выделив в романе „памфлет против радикальной интеллигенции“, Л. В. Пумпянский допускает „с большой долей вероятности“, что памфлет направлен против „одной из вульгарных форм идеологии лондонской группы“, заявляя, однако, категорически, что „отпадает гипотеза Губарев-Огарев“. Не видит исследователь „Дыма“ никаких следов в романе и „темы Чернышевского“:

„1862 год... есть «год Чернышевского», год его темы, его партии, его замыслов... Неужели Тургенев не понимал этого?... Как можно было, наконец, одобрительно интонировать... размышления Литвинова, вокруг символа дыма, о ничтожестве русской общественно-

<sup>1</sup> И. С. Тургенев. Соч., ГИЗ, 1930, т. IX, стр. 421; в дальнейшем все ссылки, касающиеся „Дыма“, делаются на это издание.

<sup>2</sup> „Дым“, Историко-литературный очерк (И. С. Тургенев. Соч., т. IX, стр. I—XXII).

политической жизни, устранив предварительно из круга этих размышлений громадное значение Чернышевского" и т. д.

"Это можно было сделать, только стоя на близорукой, элементарно-западнической точке зрения Потугина", — заканчивает исследователь свои изыскания в вопросе об адресате памфлета.<sup>1</sup>

В главе 26-й Л. В. Пумпянский находит, правда, черты памфleta, направленные против писаревской школы и „физиологического“, как он выражается, материализма, но все же общая его оценка этой части романа („памфlet против радикальной интеллигенции“) довольно низкая: роман не только близорук, но оказывается и „сбивчив“.<sup>2</sup>

Вывод этот, направленный против художественной и публицистической сторон романа, нам представляется совершенно необоснованным. Изложенная выше история разрыва Тургенева с Герценом и Огаревым дает совершенно удовлетворительный ключ к раскрытию всей „тайнописи“ „Дыма“, сделанный, впрочем, автором сознательно и намеренно без особой тщательности.<sup>3</sup>

Нам кажется, что предыдущее изложение дает нам возможность противопоставить несправедливому обвинению Тургенева как художника и политического мыслителя в „сбивчивости“ и „близорукости“ — совершенно определенный комплекс чувств, настроений и намерений, которые руководили автором в замысле и осуществлении „Дыма“.

Роман направлен той своей памфлетной частью, которую сам Тургенев окрестил „гейдельбергскими арабесками“, против теории Герцена и Огарева, обосновавшей народничество, и именно о ней идет речь в романе, а не о „второстепенном явлении“, не о „славянофильском социализме“, как утверждает Пумпянский. И образ Губарева — выпад против Огарева, отражающий всю силу личного нерасположения и политической вражды Тургенева к Огареву. Огарева Тур-

<sup>1</sup> „Дым“, Историко-литературный очерк (И. С. Тургенев. Соч., т. IX, стр. XIII).

<sup>2</sup> Там же, стр. XII (сноска).

<sup>3</sup> История эта, между прочим, с достаточной полнотой рассказана и в комментарии к роману, принадлежащем Ю. Г. Оксману и приложенном к тому же тому, где помещена и статья Л. В. Пумпянского.

генев считал, не без основания, и вдохновителем нового революционного направления „Колокола“, и инициатором „субверсивной“ тактики в самой России,— и вражды своей он к Огареву не скрывал. Письма Тургенева к Герцену этой поры полны язвительных замечаний по адресу Огарева: „лучше быть не политиком, чем политиком вроде Огарева“; „новая теория“ будет лежать „в зияющей могиле“ вместе со статьями „великого социалиста Николая Платоновича“ — и так не один раз. Когда Герцен решительно стал на защиту Огарева, Тургенев вынужден был объясниться более прямо, что и сделал в цитированном выше письме к Герцену от 3 декабря 1862 г.:

„Ты требуешь, чтоб я тебе изложил причины моего нерасположения к Огареву, как писателю. Я готов тебе повиноваться... Огареву я не сочувствую, во 1-х, потому что в своих статьях, письмах и разговорах он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и т. д., с которыми я не согласен; во 2-х, потому что он в вопросе освобождения крестьян... показал значительное непонимание народной жизни и современных ее потребностей, а также и настоящего положения дел; в 3-х, наконец, потому что даже там, где он почти прав... он излагает свои взгляды языком тяжелым, вялым и сбивчивым, обличающим отсутствие таланта...“

Это письмо Тургенева является бесспорным авто-комментарием к образу Губарева в „Дыме“. Нерасположение — слишком мягкое обозначение тех чувств, которые питал Тургенев к Огареву; они целиком выявились в тех приемах, при помощи которых писатель создавал образ Губарева, воплощая в нем все черты глубоко ему антипатичного носителя чуждой и враждебной идеологии. Метод построения образа — этот метод последовательной, все возрастающей компрометации.

Первое неблагоприятное для Губарева впечатление достигается его характеристикой, вложенной в уста Бамбаева, в свою очередь обрисованного чисто репетиловскими чертами.

„... [Литвинов] поднял голову и узрел... некоего Бамбаева, человека хорошего из числа пустейших, уже немолодого... Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь

в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели по лицу нашей многоносной матушки земли".<sup>1</sup>

По-репетиловски же Бамбаев рекомендует Литвинову и читателю Губарева:

„... тебе, может быть, не известно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам своей особой... Ты конечно с ним знаком?

— Я слышал о нем.

— Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Эдакого человека не знать!

... Губарев, Губарев, братцы мои!!.. Я решительно благоговею перед этим человеком. Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!

— О чем сочинение? — спросил Литвинов.

— Обо всем, братец ты мой, знаешь в роде Бёкля... Все там будет разрешено и приведено в ясность" (стр. 9).

Вторая степень компрометации образа — впечатления Литвинова от общего облика Губарева:

„Литвинов... видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, гла-застого, губастого, бородастого, с широкой шеей, с косвенным, вниз устремленным, взглядом" (стр. 13).

И наконец, читатель слышит самого Губарева — его запинающееся мычание, его пророчества, его речи, выражющие ограниченную тупую мысль:

„ — Ммм... мmm... Сверху до низу все гнило... Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

„ — Все будут в свое время потребованы к ответу, со всех взыщется...

„ — ... Это полезно, как школа, как школа — не как цель. Цель теперь... мм... должна быть... другая" (стр. 14 и сл.).

Речи Губарева продолжаются, — бесталанные, косноязычные, сбивчивые — и в них Тургенев вложил все, с чем он спорил, что ненавидел в воззрениях Огарева и Герцена: „старинные социалистические идеи общей собственности", „непонимание народной жизни, настоящего ее положения",

<sup>1</sup> И. С. Тургенев, т. IX, стр. 8—9. В дальнейшем ссылки на страницы текста по названному изданию см. при цитатах.

„обвинительные акты против Положения [19 февраля]“, „презрение к образованным классам“, признание „революционных или реформаторских начал“ только в „народе“. <sup>1</sup>

— Ммм... Ну, и артель... как зерно... Вот вопрос о крестьянском наделе...

— Ммм... А община?... Община... Понимаете ли вы? Это великое слово. Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? Разве не видите, к чему все это ведет, что... мм... что нам... нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение... Разве вы не видите...” (стр. 17—18). <sup>2</sup>

Речь Губарева закончена, и авторская ремарка подчеркивает всю силу классового возмущения Тургенева против этого неуклюжего и мрачногозыва духов революции:

„Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все не поднимал глаз и продолжал жевать бороду” (стр. 18).

Но не только речи Губарева, речи и намеки участников всего губаревского собрания, фамилии учеников и последователей Губарева, самые звуковые видоизменения имен и отчеств — все ведет к редакции „Колокола“, все возводит „прототип“ Губарева к Огареву.

О Потугине речь будет дальше; здесь только отметим характеристику Губарева, вставленную в один из потугинских монологов: „он и славянофил, и демократ, и социалист“. Это — та же характеристика нового направления редакторов „Колокола“, которому не сочувствовал Тургенев,— характеристика, которая звучит во многих письмах его полемиче-

<sup>1</sup> Цитированные письма Тургенева к Герцену и Лугинину от 8 октября 1862 г.

<sup>2</sup> Ср.: „Положение дало возможность урезать крестьянскую землю. Крестьянин не уверен, что он завтра сохранит землю, которую обрабатывает сегодня. Толки об уставных грамотах, в которых он не без основания боится быть обманутым и своею подписью отказаться от собственных выгод и лучшей будущности, — отнимают у него время и охоту для обработки собственной земли... Государь! не спросясь народа нельзя спасти государства...“ (Проект адреса о земском соборе в редакции Огарева. Письма Кавелина и Тургенева Герцену, стр. 156—157).

ской переписки с Герценом. Либеральное литературоведение видело здесь продолжение западнической борьбы Тургенева с славянофильством,— на деле же, как было показано выше, это была борьба либерала Тургенева с новыми принципами революционного демократизма, с первыми проявлениями теории „старого“ народничества. Тургенев — зачинатель этой борьбы либерализма, ему же принадлежит и первая попытка сближения народничества с славянофильством. Впоследствии генетическая якобы связь этих двух течений общественной мысли была широко использована либеральной публицистической и историографией в борьбе с народниками. Этим же путем в истолковании народничества шло и меньшевистское течение в истории общественной мысли в лице Г. В. Плеханова, Потресова, Струве и др.<sup>1</sup>

В оценке роли крестьянства в революции меньшевизм также повторял уроки либерализма об антисоциальном, реакционном нутре русского мужика; и эти уроки также были впервые преподаны И. С. Тургеневым в приведенной выше характеристике им русского крестьянства.<sup>2</sup>

Тридцать лет шел разговор о связи народничества с славянофильством, начатый Тургеневым в 60-х гг., — пока место народничества в русском историческом процессе не было указано Лениным:

„... сущность народничества лежит глубже; не в учении о самобытности и славянофильстве, а в представительстве интересов и идей русского мелкого производителя [...] Народничество отразило такой факт русской жизни, который почти еще отсутствовал в ту эпоху, когда складывалось славянофильство и западничество, именно: противоположность интересов труда и капитала“.<sup>3</sup>

Тургенев не удовольствовался „гейдельбергскими арабесками“ (III глава романа): в главе XXXIII он вновь сводит Литвинова с Степаном Николаевичем Губаревым, но уже

<sup>1</sup> „Из мнений славянофильской школы... выросла вся та реакционная политическая идеология, на которую до сих пор опираются наши враги народной свободы и просвещения; в мнениях той же школы коренилась идеология русских революционеров-утопистов народнического периода“ (Плеханов. Сочин., т. XXIV, стр. 109).

<sup>2</sup> Письмо к Герцену от 8 октября 1862 г.; см. выше.

<sup>3</sup> Ленин. Соч. (3-е изд.), т. I, стр. 278—279.

на русской почве в компании с братом последнего Доримедонтом Николаевичем, — „дантристом прежней школы“. Звериным рыком, гуще и выразительнее, нежели „дантрист“, рычит Губарев-народолюбец по адресу мужиков-ямщиков:

„ — Па-адлецы, па-адлецы... Мужичье поганое!...  
Бить их надо, вот что; по мордам бить; вот им какую-  
свободу — в зубы... (стр. 151—152).

Политическая сатира, идеологическая борьба снизилась до злобного пасквиля, до клеветы.

Сам Тургенев, конечно отлично знал адрес, в который направлял „гейдельбергские арабески“. Посылая в 1867 г. автору „Концов и начал“ экземпляр вышедшего из печати „Дыма“, он писал Герцену после трехлетнего перерыва в их переписке:

„... посылаю тебе свое новое произведение. Сколько мне известно, оно восстановило против меня в России людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов. Ты не религиозный человек и не придворный, но ты — славянофил и патриот и, пожалуй, прогневаешься тоже, да сверх того, и гейдельбергские арабески мои тебе, вероятно, не понравятся“. <sup>1</sup>

Герцен промолчал относительно „гейдельбергских арабесок“...

С запросом о них автор „Дыма“ обращался не только в Лондон; 10 (22) мая 1867 г. он спрашивает у Д. И. Писарева, с которым начал было переписку:

„... какое впечатление произвел „Дым“ на вас и на ваш кружок — рассердились ли вы по поводу сцен у Губарева и эти сцены заслонили ли для вас смысл всей повести?“. <sup>2</sup>

Этот запрос так же следует считать направленным по надлежащему адресу: „арабески“ (да и не только они), несмотря на концентрированность всей авторской полемики с левым лагерем вокруг Губарева-Огарева, били по разным направлениям — и по группе „Русского слова“, к тому времени хотя и в измененном составе собранной в благосветловском „Деле“, и по несуществовавшей уже группе „Совре-

<sup>1</sup> Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 190.

<sup>2</sup> „Радуга“. Альманах Пушкинского дома. Пгр., 1922, стр. 292.

менника". Удары в эту сторону, если не смягчены, то во всяком случае тщательнее завуалированы, на что у автора были, как выше указано, свои соображения.

Ворошилов бранит Бастия „дураком и деревяшкой“ — „не хуже Адама Смита и всех физиократов“ (стр. 11) — и эта неумная, неуклюжая и неверная ворошиловская формулировка — несомненный выпад против Чернышевского, против его оценки классиков буржуазной системы политической экономии и их эпигонов.<sup>1</sup> Увлечение Суханчиковой швейными машинами („надо всем, всем женщинам запасаться швейными машинами и составлять общества“ и пр. — стр. 16) — также выпад против Чернышевского, против „Что делать?“, — и хотя для 10 августа 1862 г. дата, которой автор определяет дискуссию у Губарева, этот выпад хронологически не на месте, но это легко объясняется тем, что роман Тургенева писался уже после опубликования романа Чернышевского; сарказм Потугина, что „теперь, например, мы к естественным наукам в кабалу записались“ (стр. 23) — также выпад, — выпад не только против Писарева, но и частично против „Современника“.<sup>2</sup>

Злым выпадом является обвинение демократии в невежестве, в беспомощности, непрактичности, в узком понимании исторической действительности и в доктринерстве, — все это собрано в главе XIV, во втором монологе Потугина:

„С нынешнего дня общаюсь, как только подвернется мне самородок или самоучка, — стой, скажу я ему, почтенный! а где зерносушилка? подавай ее! Да куда им! Вот поднять старый стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним как со святыней, это мы в состоянии; или статейку настрочить об историческом и современном состоянии пролетариата в главных городах Франции — это тоже можем; а попробовал я как-то предложить одному такому сочинителю политико-эконому, вроде вашего господина Ворошилова, назвать мне двадцать городов в этой самой Франции, — так знаете ли, что из этого вышло? Вышло

<sup>1</sup> В статье „Капитал и труд“, Чернышевский, т. VI, стр. 4 и сл.

<sup>2</sup> Статьи Антоновича в „Современнике“: „Теория происхождения видов в царстве животных“ (1864, кн. III), „Единство сил природы“ (1865, кн. I) и др.

то, что политико-эконом, с отчаяния, в числе французских городов, назвал, наконец, Монфермель, вспомнив вероятно польдекоковский роман" (стр. 77—78).

Мораль „малых дел“ и мелкого культурничества, вытекающая из всех этих обличений, звучала благовестом не только для либерализма, но и для тех из стана демократии, кто, по словам Герцена, почувствовал „страх, смешанный с беспокойством, перед неустройством ненаезженной жизни“, кто за чечевичную похлебку уступил „долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему“ и „поддерживал старый мир людских отношений“ („Концы и начала“):

„В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней темной, подземной работы прошло, что хорошо было старишкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе... будем действовать... Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли в норку, в норку опять, по следам старищков?“ (стр. 79).

Проповедь „малых дел“ и „норки“ пришла в кризисное время, когда второй прилив реакции 60-х гг. захлестнул страну после выстрела 1866 г., когда террор Муравьева разгромил центры революционной и радикальной мысли, когда и на Западе вопрос, кто кого? — Бисмарк Наполеона III или наоборот, — для демократии разрешался одинаково горестно. Для дела же революции в России проповедь Потугина была исключительно вредной: эпоха была такова, что даже буйный радикализм Писарева не нашелся, что ответить на этот призыв к умеренности и к кротовьей работе — и Писарев промолчал о нем в своей оценке романа, данной в письме к автору.<sup>1</sup>

Таким образом, „памфлет“ „Дыма“ захватывает не только Лондон. Огонь настигал врага на всех участках левого фронта.

Недоуменные вопросы — „почему Тургенев выбрал именно лондонскую группу?“ „неужели Тургенев не понимал, что 1862 г. в русской истории есть год Чернышевского, год его темы?“ — и т. п.<sup>2</sup> — плод большого недоразумения. И в 1862 г.,

<sup>1</sup> Литературный вестник, 1901, кн. III, стр. 224.

<sup>2</sup> Пумпянский, названная работа.

и в 1867 г. Тургенев отлично знал, „что делать“. В 1866—1867 гг. актуальной была не „тема“ и „партия“ Чернышевского, ибо и тема и партия великого демократа были реакцией сметены. Необходимо было захватить опустевшие позиции, так как слева надвигалась новая опасность в виде новой „темы“ — народничества, „темы“ Герцена и Огарева. Тургенев, с своей классовой точки зрения, действовал совершенно целесообразно, — и не его вина, если угроза превратилась в реальность, а выпавшее из рук Чернышевского знамя революции подхватило старое революционное народничество.

Романы Тургенева отражают различные положения, в которые ставился русский либерализм сложным и извилистым ходом исторического развития России. Различным в разные эпохи, в силу этого, было и напряжение борьбы либерализма в своем классе — против реакционных крепостнических элементов дворянства. Если в „Отцах и детях“ огонь сосредоточен, главным образом, против революции, если в „Нови“ борьба с реакцией не переходит границ иронии, то часть „Дыма“, направленная против крепостнической верхушки, осуществлявшей террористический режим конца 60-х гг., сатирически значительно насыщеннее, хотя и не переходит тех границ, какие художник позволил себе перейти в памфлете на Огарева.

И тем не менее образы палладинов крепостнической реакции, военных и штатских, частью захлебывающихся от бессильной ярости, частью спокойных и выдержаных в общем официальном стиле бюрократического „либерализма“, представляют высокое достижение русской сатирической антикрепостнической литературы 60-х гг. Партия Безобразовых и Скарятиных получила художественное воплощение, и в персонажах „Дыма“, из круга Ирины Ратмировой, современники, вероятно легко узнавали живых деятелей реакционного дворянства.

Целая толпа крепостников, и рафинированных, и в своем естественном виде, проходит через немногие посвященные им страницы романа. Другие даже не появляются: о их бытии, кончившемся или длящемся, автор только мельком упоминает, либо дает понять беглым, чуть заметным штрихом, оброненным замечанием, ремаркой. „На главное лицо дама едва

решилась намекнуть", — сообщает Тургенев, передавая историю Элизы Бельской (стр. 116) и этим приподнимает завесу над одним из обычных при николаевском дворе „темных дел"; на миг мелькает маска самодержца предыдущей эпохи.

„Мимо, читатель, мимо", — торопит Тургенев, несколькими штрихами давши понять, через что прошла Ирина, пока Валерьян Ратмиров пробирался на намеченное место, — „страшная, темная история" (стр. 117).

Герои „темного царства" заправляют и руководят страной; они задерживают ее прогресс; они оспаривают у просвещенной буржуазии, у либерального, европейски мыслящего дворянства право на управление историей; они заняли все ступени трона — вот руководившее Тургеневым при создании этого памфлета настроение. И либерально-дворянский памфlet на реакционную часть своего класса отразил объективную действительность, когда замешательство, внесенное в 1866 г. революцией в ряды сторонников прусской системы, перегруппировало силы, в результате чего либерализм оказался почти вытесненным из влиявших на судьбы страны рядов правящего класса; памфlet дал образы победившего консерватизма, для либерального сознания предельно объективные.

Господствующее настроение изображенной романистом реакционной группы — тоска по прошедшему, оставшемуся позади перевала 19 февраля 1861 г.; ее программа — всеми силами удержать от дальнейшего, если уж нельзя изменить совершившегося. Собственно разномыслие по поводу этого последнего только и индивидуализирует отдельные фигуры крепостников, собранных автором у Старого замка. „Снисходительный генерал" — за программу решительных „переделок":

„— Совсем, совсем назад, *mon très cher*. Чем дальше назад, тем лучше... надо переделать... да... переделать все сделанное.

— И девятнадцатое февраля?

— И девятнадцатое февраля — насколько это возможно" (стр. 51).

„Снисходительный генерал" зовет не к семибояршине, хотя и подтвердил сгоряча подсказку Литвинова; отрицая всю программу либерализма (самоуправление, суд присяж-

ных и т. д.), он тем не менее за „прогресс“: „мосты, и набережные, и госпитали, вы можете строить и улицы газом отчего не освещать?“ (стр. 51).

„Снисходительный генерал“ совершенно правильно отражает программу крепостников пореформенной формации: по возможности назад к николаевской дисциплине, к прогрессу в рамках крепостнического режима. Борьба этой тенденции с тенденцией расширения круга реформ, начавшихся актом 19 февраля, в сущности, и характеризует внутреннюю пореформенную борьбу в буржуазно-дворянском лагере и внутриклассовую борьбу в самом дворянстве. Борьбой этих тенденций, осложнившихся атаками на реформированный феодализм сперва крестьянства, а затем — пролетариата и руководимого последним крестьянства, обусловливались — и общий характер пореформенного режима, созданного правящими классами, и смена веяний и настроений во всей внутренней политике пореформенной монархии в первые три десятилетия ее существования.

В романе Тургенева дана начальная стадия борьбы указанных тенденций. Классовая позиция самого автора не позволила ему показать всю сложность действительности даже на том этапе; он изолирует внутреннюю борьбу класса, к которому сам принадлежал, от главного русла того исторического потока, в котором боролись основные тенденции капиталистического развития России: реформистская — и революционная, буржуазно-дворянская — и крестьянская, демократическая; прусская в целом — и американская. Это-то и налагает печать ограниченности на сатиру Тургенева и снижает ее сравнительно с уровнем антикрепостнической сатиры, напр., Щедрина, атаковавшей крепостников с позиций революционного класса.

За вычетом двух памфлетов, вплетенных в ткань романа, остается самый роман с его главными героями.

Григорию Михайловичу Литвинову старая критика не только отказывала в значении „героя“ романа, но и вообще очень мало им занималась, тогда как Рудин, Лаврецкий, Базаров — занимают целые главы в историях русской литературы и „русской интеллигенции“. Из старых критиков только Н. Лунин (Г. Е. Благосветлов) да А. М. Скабичевский

пытались поставить в связи с образом Литвинова хоть какие-нибудь проблемы тургеневского творчества. Правда, Скабичевский поставил проблему не очень глубокую — почему Ирина не пошла за Литвиновым? — но все же проблему законную и решенную критиком, в общем, удовлетворительно: Литвинов из породы тех же „лишних людей“, безвольных тургеневских героев, — Рудиных, Лаврецких, гг. Н. Н., Берсеневых, за которыми не шли тургеневские девушки. Нечто общее у Литвинова с г. Н. из „Аси“, несомненно, есть, но не это решает проблему образа Литвинова. Ближе к истине Благосветлов, также зачисливший Литвинова в категорию безвольных и „лишних“, но преодолевший литературно-критическую традицию, сложившуюся в отношении к Тургеневу, и усмотревший в Литвинове нечто новое:

„... На вопрос: кто такой Литвинов? — мы должны отвечать то же самое, что Гоголь сказал о Чичикове: «хозяин приобретатель»... Литвинов — «приобретатель» нового времени, рафинированный хозяин, либеральный и благовоспитанный, чем не мог быть Чичиков — продукт доброго старого времени...

„Надо отдать справедливость Тургеневу, что он против всякого желания обрисовал нам человека нашего времени. Новые Чичиковы сильно плодятся в России; зародыш их брошен экономической реформой после освобождения крестьян... кулаки и стяжатели, подобные Чичикову и Литвинову, не переводились у нас никогда..., но в новом, благообразном и либеральном виде они являются только теперь“.<sup>1</sup>

Зерно истины в этой концепции, пропитанной духом неприятия капитализма, имеется: Литвинов — действительно новый человек, порожденный новыми экономическими условиями. Но Тургенев отнюдь не против желания обрисовал в Литвинове человека новой, пореформенной эпохи.

Чтобы ответить на поставленный Благосветловым вопрос: „что такое Литвинов?“, необходимо рассмотреть образ Литвинова в ряду всей группы сменявших друг друга образов, которые в течение 20 лет, от „Рудина“ до „Нови“, Тургенев ставил перед своим читателем, — в ряду Рудина, Лаврецкого, Берсенева, Кирсанова-младшего, Базарова, Нежда-

<sup>1</sup> Н. Лунин. Старые романисты и новые Чичиковы. Дело, 1868, № 1, стр. 16 (отд. II).

нова, Соломина. Эти образы и их общественную ценность выставлял художник на суд читателя, заставлял их держать трудный экзамен на звание „героя нашего времени“, причем сам не оставался беспристрастным зрителем, не отходил в сторону, а в процедуре суда и оценки принимал действенное и непосредственное участие: нередко сам допрашивал с пристрастием и сам выносил приговор. Далеко не все тургеневские герои выдерживают испытание; из дореформенной группы оправдан только Лаврецкий:

„... он сделался хорошим хозяином“, заявляет автор о Лаврецком, „действительно выучился пахать землю и трудиться не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян“. <sup>1</sup>

Так ли это — осталось на совести автора: нигде никаких доказательств в романе этому не приводится. Сомнение тем более законно, что на той же странице и сам Федор Иванович прекословит автору:

„Здравствуй, одинокая старость. Догорай, бесполезная жизнь“. <sup>2</sup>

Так же бездоказательно считает Тургенев выдержавшим испытание и одного из первых своих пореформенных героя — Аркадия Николаевича Кирсанова:

„Аркадий сделался ряным хозяином, и ферма уже приносит значительный доход“. <sup>3</sup>

Дело, несомненно, нелегкое — уже в 1861 г. превратить дворянское поместье в доходную „ферму“, хотя бы хозяйственные преобразования и были начаты Николаем Петровичем задолго до реформы; но автор и здесь не приводит доказательств, и читатель вынужден верить ему на слово. Тем не менее — и в случае с Лаврецким, и в случае с Аркадием Кирсановым — тургеневская мысль совершенно ясна: хозяйственная эффективность человеческой, точнее — поме-

<sup>1</sup> Тургенев, Соч., ГИЗ, 1930, т. III, стр. 273. Ср.: „С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставил, разумеется, старое количества земли), переселил их (с их согласия), и с нынешней зимы они все поступают на оброк по 3 руб. с десятины“ (письмо П. Виардо, цитированное выше).

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, т. VI, стр. 365.

щичьей, деятельности является для автора мерилом общественной стоимости его героев. Лаврецкий и Аркадий — настоящие люди, люди дела, важного и нужного; Рудин и Базаров — пустоцветы, перекати-поле.

И Литвинов — один из тех героев, которых автор испытывал „землей“, но герой совсем другого порядка. Григорий Михайлович и сам отличается от двух своих предшественников, отличаются и те условия, в которых ему пришлось жить и работать, от условий, в которых жили Лаврецкий и Кирсанов. Литвинов — особого рода помещик. Сын разночинца и дворянки, „плебей“ и демократ, по рекомендации автора, он не связан с землей преданьями „дворянского семейства“: его связь с ней чисто деловая, и обязательства по отношению к ней он принимает по-деловому, просто, не осложняя их никакими привесками вроде дворянского долга, родовой чести и т. п. И автор по-новому относится к своему новому герою: Литвинов выдерживает испытание не в авторской лишь ремарке, а на самом деле, на глазах у читателей, так как действительно сделал дело, которое ему задал автор — сделал его в исключительно трудных условиях.

„Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось, как божий дух, над водами. Терпенье требовалось прежде всего — и терпенье не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас...“ (стр. 149).

Плебей и разночинец, Литвинов проявил и терпенье, и сноровку. Правда, тот арсенал знаний европейской агрономической науки, которые он собирал, разъезжая по Европе и везде учась, Литвинову не пригодился; но эта-то европейская выучка и дала Литвинову сноровку приспособляться к обстоятельствам:

„Литвинов... обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако, кое в чем успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками... расплатился с главными частными долгами... И дух в нем окреп“ (стр. 149; разрядка моя. И. В.).

В чем тайна успеха Литвинова, автор отлично знает: во-первых, Литвинов имеет авторскую мудрую уверенность, что „от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда — через худшее“ (стр. 27) — и потому действует терпеливо, радостно наблюдая, как „великая мысль“ реформы 19 февраля „осуществлялась понемногу“, как „выступил росток из брошенного семени“ (стр. 149). Во-вторых, его герой — тот умный, знающий и волевой, но средний по дарованиям — человек, какой, по мнению Тургенева, тогда был нужен России. В этом смысле, за исключением, может быть, волевых элементов в своей натуре, Литвинов — тот же Лаврецкий, но он в социальном и в историческом смысле *homo novus* — и потому работает с ориентировкой на совершенно другие формы деятельности: в отличие от Лаврецкого, в новых условиях жизни, Литвинову, как и Соломину, европейская наука пошла впрок, и если Лаврецкий только пахал землю, если Аркадий выращивал „ферму“, то Литвинов первым делом возобновил фабрику, и ему Соломин не мог бы сказать: „не барское это дело“.

Литвинов — новый герой Тургенева; продолжателем его будет Соломин. И, конечно, не о распадении жанра старого тургеневского романа надо говорить в связи с романом „Дым“, не о падении „романного творчества“,<sup>1</sup> а о новой классовой ориентировке автора, о перенесении внимания с гуманного либерального помещика на „подлинного представителя новой и молодой России... буржуазной, торгово-промышленной“, как характеризует В. В. Воровский героя „Нови“, — Соломина.<sup>2</sup>

Литвинов — предтеча Соломина, предтеча „прогрессивной силы, идущей на смену оскудевающему барству“<sup>3</sup>; он уже — помещик-буржуа новой, европейской складки.

Нетрудно установить точку отталкивания Тургенева в создании этого образа, составившего эпоху в его творчестве. В первом же письме „Концов и начал“ Герцен гениально очертил образ нового хозяина старой Европы — мещанина-буржуа:

<sup>1</sup> Л. В. Пумпянский, упом. статья, стр. V.

<sup>2</sup> Воровский. Соч., т. II, стр. 144.

<sup>3</sup> Там же.

„Мещанство идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна. Это та «курица во щах», о которой мечтал Генрих IV...

„Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, демократизация аристократии, аристократизация демократии...

„... Господство мещанства — ответ на освобождение без земли, на открепление людей и прикрепление почвы малому числу избранных“.<sup>1</sup>

Тургенев был за „безусловное самодержавие цивилизации, основанной на собственности“, за „демократизацию аристократии“, за „прикрепление почвы малому числу избранных“; Тургенев считал, что нет иного пути к „курице во щах“, как только через господство буржуазии; жаждал и призывал наступление западноевропейского капитализма — пусть даже „искусство вянет в нем как зеленый лист в хлоре“,<sup>2</sup> — недаром и Литвинов, и Соломин, в противовес дворянским своим предшественникам, — люди к искусству не очень чуткие, и музыка Лемма вряд ли произвела бы на Литвинова особое впечатление.

„Прогрессивное дворянство превращалось в земледельческий класс европейского образца“ (Воровский), и Тургенев образом Литвинова, всей структурой, всеми ситуациями, всеми персонажами „Дыма“ свидетельствует, что и в нем самом происходит этот процесс эволюции либерального дворянства в представителя нового класса складывавшегося капиталистического общества.

Ирина — также новый образ в ряду прежних женских тургеневских образов. Только в волевом отношении она сближается в какой-то степени с Еленой из „Накануне“; во всем остальном она — продукт новой эпохи, новых ее веяний. Судьба Ирины горестна, искания ее кончились крахом, но в этом не ее вина, а вина тех же условий, открывавших

<sup>1</sup> Герцен, т. XV, стр. 247 и сл., разрядка автора.

<sup>2</sup> Там же; ср.: „самые великие поэты нашего времени — это, на мой взгляд, американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и обсуждают вопрос о проведении электрического телеграфа через океан“ (Тургенев — П. Виардо, 13/25 декабря 1847 г. Письма И. С. Тургенева к г-же П. Виардо и его французским друзьям, М., 1900, стр. 29).

Штольцам и Литвиновым множество путей, а женщине оставлявших только один — быть спутницей мужа. Д. Н. Овсянникова-Куликовский определяет Ирину как „хищный тип“, как „иrrациональную натуру“. Определение — „хищный тип“ требует существенных поправок, а утверждение об „иrrациональной натуре“ совершенно неправильно: Ирина — образ здорового, в высшей степени рационального, рассудочного человека; между Ириной и иrrациональными инфернальницами, например, Достоевского, нет ничего общего. По жизненной цепкости, по общему жизненному тонусу, по психическому своему здоровью, Ирина оставляет далеко позади всех тургеневских героинь, за исключением опять-таки Елены.

Овсянникова-Куликовский сближает Ирину с Зинаидой из „Первой любви“, но между ними только одно общее: обе — представительницы обнищавших княжеских родов, обе находятся на грани социальной деклассации. В отличие от Зинаиды, у Ирины — прямая и ясная, вполне рациональная цель: найти выход из нищенской обстановки в жалком домишке на Собачьей площадке для себя и для молодого поколения своей семьи. Брак с недоучившимся студентом не сулил этого выхода. Брак этот давал далеко неблестящую перспективу — деревенской, во всем ограниченной поместьевой жизни. Другим путем был путь „снизу вверх“, к вершинам правящего класса. Ирина выбрала второй. Это своеобразное отражение в российских условиях пути, которым вообще шли люди новой эпохи, начиная со стендалевского Жульена. Тургенев показал в Ирине огромные силы, ибо особенно страшен и темен был этот путь в стране азиатского деспотизма. Тургенев провел свою героиню через все неизбежные ужасы, до алькова самодержца всероссийского включительно. Неудержимую тягу вверх буржуазной личности, не останавливавшейся ни перед чем, можно признать, конечно, и хищничеством, но это ничем не выделяет образа Ирины из целого ряда других образов мировой литературы, сопутствовавших восхождению буржуазии.

Историческая особенность и локальная типичность образа Ирины в том, что причины ее крушения автор возвел к особенностям исторического пути, проходившегося Россией. Когда цель была достигнута и Ирина была на вершине, ока-

зались сломленными историей те условия, которыми определялись и трудности жизненного пути Ирины, и невозможность для нее других путей. С теми качествами ума и воли, которые Тургенев показал в Ирине, он мог зачислить ее в ряды только нового, поднимавшегося буржуазного мира, выраставшего из недр старого, отживающего.

Литература западноевропейская (Фридерика Бремер), литература русская (Гончаров) ставили во всем объеме проблему женщины в буржуазной семье. Гончаров отдал Ольгу Штольцу — и любуется сам благообразием их семейного очага. В обстановке дома Андрея Ивановича и Ольги „веяло теплотой, жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство; везде присутствовала или недремлющая мысль или сияла красота человеческого дела... Ничто не делалось без ее, Ольги, ведома и участия. Ни одного письма не посыпалось без прочтения ею, никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилась мимо нее, и все занимало ее, потому, что занимало его“.

„— Как счастлив я, — говорил Штольц про себя... — Ему грезилась мать — созиательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения“.<sup>1</sup>

Ирина обладала силами не только для того, чтобы создать для Ратмирова семейный очаг, но и чтобы поднять Ратмирова на ту высоту, к которой шла сама. Ратмирков оказался неспособным итти дальше, не способным уйти в жизнь и деятельность, открывшуюся с веяниями новой эпохи: откровенный эгоист, карьерист без всяких общественных инстинктов, „с неуклонным желанием добра только самому себе“, Ратмирков был на своем месте в том стане, в котором Ирине стало „невыносимо, нестерпимо душно“.

На противоречии между страстью жаждой Ирины войти в новую жизнь на правах ее хозяйки и чрезвычайными трудностями, которые предстояли на этом пути женщине переходной эпохи, построена драматическая ситуация в „Дыме“.

За Литвиновым Ирина следила с высоты своего общественного положения; она все знала о нем. И она делает все, чтобы завоевать его. Ирина показывает ему всю разницу

<sup>1</sup> Гончаров. Обломов, ч. 4-я, гл. VIII.

между собой и тем миром, в котором она живет. Литвинов почувствовал это с первых же шагов возобновившихся отношений: „она в их стане, но она не враг“ (стр. 57).

Как зверей, диких и невиданных, демонстрирует Ирина Литвинову своих высокопоставленных гостей.

„Она так ловко распорядилась, что он очутился в уголку возле двери, немного позади ее... она постоянно как будто хотела сказать: «ну что, каковы?». Особенно ясно слышался Литвинову этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствующих произносил или совершал пошлость“ (стр. 85).

„Прощаясь с Литвиновым, Ирина снова стиснула ему руку и значительно шепнула — Ну что? Довольны вы? Насмотрелись? Хорошо? — Он ничего не отвечал ей и только поклонился тихо и низко“ (стр. 89).

Но в поисках выхода, в поисках путей к новой жизни — Ирина терпит крах. Ирина в письме Литвинову указывает совершенно отчетливо только одну причину краха:

„... бежать, все бросить... нет, нет, нет. Я умоляла тебя спасти меня, я сама надеялась все изгладить, сжечь все, как в огне... но видно мне нет спасения; видно яд слишком глубоко проник в меня; видно нельзя долго безнаказанно, в течение долгих лет дышать этим воздухом“ (стр. 139).

На другую причину в письме имеется только отдаленное указание:

„ты быть может уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах! он прекрасен, но несбыточен“ (стр. 135).

В чем несбыточность „плана“? Не в материальной только необеспеченности Литвинова и не в том только, что Литвинов был всего лишь в начале своего пути. Если бы Литвинов был без изъяна, без гамлетовской рефлексии, без остатковrudинщины и обломовщины в своей натуре, Ирина несомненно пошла бы за ним. От всего этого Литвинов, возможно, и освободился в процессе дальнейшей жизненной борьбы, но в Бадене все это было в нем еще сильно.

— Твое письмо навело меня на размышление — говорит Ирина Литвинову: — Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя всё заменила, что даже все твои прежние занятия теперь должны остаться без применения; а я

спрашиваю себя: может ли мужчина жить одною любовью... (стр. 136).

Вопрос поставлен в форме намека. Но Литвинов понял намек:

„— Поверь, в твоей любви для меня целый мир, и я сам еще не могу теперь предвидеть все, что может развиться из него“ (стр. 136).

Но Ирина не поверила. В борении с старым миром в себе самой она не нашла поддержки в Литвинове. Ирина осталась.

В борьбе за женщину, творческую и одаренную, старое пока побеждало. Ирина осталась заложницей в стане врагов, не переставая, однако, ненавидеть и презирать старое, не ассимилируясь с ним, не сходясь с ним ни в чем:

„... ее боятся... боятся ее «озлобленного ума». Такая составилась о ней ходячая фраза; в этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины... Никто не умеет так верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера, никому не дано так безжалостно, заклеймить ее незабываемым словом... Трудно сказать, что происходит в этой душе; но в толпе ее обожателей молва ни за кем не признает названия избранника“ (стр. 158).

Попытки истолковать образ Ирины, вне учета действовавших исторических сил, вне учета авторской позиции заведомо были обречены на неудачу. Их было немало: реакционер Николай Соловьев, радикал Благосветлов, народник Скабичевский, либерал Овсянико-Куликовский — все пытались объяснить этот новый образ в романе Тургенева, и все терпели неудачу. Несмотря на различие позиций, с которых критики подходили к оценке образа Ирины, вывод неизменно повторялся один и тот же. Наиболее четко сформулировал его Д. Н. Овсянико-Куликовский:

„Связь Ирины с великокультурным обществом — в ее крови, а также в своего рода „категорическом императиве“ ее красоты, которая требует широкой и блестящей арены... Блеск, роскошь, пышность, интрига, влияние, победы — все это для Ирины первая необходимость как воздух“.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Овсянико-Куликовский. Соч., т. II, стр. 122.

То, на что указывает критик, несомненно дано в образе Ирины, но дано, как одна сторона, при том не самая важная, не определяющая.

Ни один из женских образов Тургенева, ни до Ирины, ни после не подавался автором так динамически; ни один не показан с такими внутренними противоречиями и ни в одном эти противоречия не мотивированы так убедительно. Зато и ни один из образов Тургенева не был так дурно понят и объяснен современной роману и последующей критикой, кроме разве наиболе близкого к самому Тургеневу П. В. Анненкова.<sup>1</sup>

Критика дружно нападала на Тургенева за образ Потугина; сам же писатель очень дорожил своим Созонтом Ивановичем:

„... мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем... глухой и неугасимый огонь. Быть может, мне одному это лицо дорого; но я радуюсь, что удалось выставить слово «цивилизация» на моем знамени“ [Тургенев — Писареву, 23 мая (4 июня) 1863 г.]<sup>2</sup>

Герцен не мог не отозваться на роман Тургенева, и статья Герцена о „Дыме“, под названием „Отцы сделались дедами“, появилась в „Колоколе“ 15 апреля, т. е. до возобновления переписки с Тургеневым. Естественно, что „Дым“ был атакован Герценом со стороны потугинских речей: это вытекало из их содержания, так как в речах Потугина, главным образом, заключается полемика Тургенева с Огаревым.

„... нельзя же взять совсем безличные и не очень новые меха“, писал Герцен, да в них налить продыменную воду, „назвать их Натугиным или Потугиным, заставить постоянно сочиться, как каучуковую грушу, и выдавать их за живых людей... Читаешь-читаешь, что несет этот Натугин да так и помянешь Кузьму Пруткова: «Увидишь фонган — заткни и фонтан, дай отдохнуть и воде»...“.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Вестник Европы, 1876, № 6.

<sup>2</sup> Радуга, стр. 222—223.

<sup>3</sup> Герцен, т. XIX, стр. 314.

В сущности, все критиковавшие образ Потугина соглашались с Герценом: образ Потугина — надуманный, Потугин в романе выполняет функцию резонера, речи его и он сам органически не слиты с романом, являются антихудожественным привеском и т. д.

Однако, все эти упреки вряд ли оправдываются соображениями эстетического порядка, а если и оправдываются, то соображениями старых канонов эстетики, многократно нарушавшихся литературной практикой.

Созонт Иванович Потугин — разnochинец и много лет тянул лямку в рядах российской бюрократии; умный и наблюдательный, знающий людей, чрезвычайно практичный и одновременно живущий жизнью сердца, Потугин в достаточной степени жизненная фигура. Либеральный чиновник буржуазного склада, он мог бы насчитать много своих собратьев среди бюрократии — и не только по финансовому ведомству, по которому сам служил, но и по разным другим: такими же либерал-консерваторами были его современники — И. А. Gonчаров, Еленев-Скалдин и др.

Вопрос о закономерности включения Потугина в рамки романа также разрешается, на наш взгляд, положительно. Он связан с Ириной, — следовательно, связан с Литвиновым, и право его на участие в развертывании сюжета автором совершенно удовлетворительно мотивировано.

Но в оценке меры насыщения романа потугинскими речами Герцен до известной степени прав: эти речи — действительно „фонтан“ — и вряд ли чем другим могут быть оправданы, кроме как потребностью высказаться, естественной в человеке, долго молчавшем. А Потугин, видимо, молчал долго. Пусть даже и при этом оправдании потугинские речи выпадают иногда из сюжета романа, но они теснейшим образом увязаны с замыслом и целевым назначением романа, они цементируют всю публицистическую часть его, связывают выделенные выше два памфлета с фабулой романа в одно органическое целое, и в этом их эстетическое оправдание.

Наконец, потугинские речи — это выход, найденный Тургеневым из противоречия, которого он не мог не почувствовать в самом начале своей работы над романом.

Выше указывалось на связь романа с герценовскими „Концами и началами“, указывалось, что „Дым“ — образный ответ на публицистическое выступление Герцена. Противоречие между этим назначением романа и между образом главного героя — Литвиновым, сказалось сразу: „средний“ человек, мещанин-буржуа, человек без широкого кругозора, далекий от искусства и философии, не смог бы за себя постоять в схватке с блестящим, искрящимся всеми цветами и оттенками таланта Герценом. С Герценом по плечу борьба могла быть либо тонкому диалектику Рудину, либо сильному, напористому Базарову, но время Рудиных и Базаровых, как неоднократно заявлял Тургенев, прошло. И Тургеневу приходилось в романе выступить либо самому, как это сделал наперекор всем канонам Чернышевский в „Что делать?“, либо заставить говорить за себя кого-нибудь из своих персонажей. Созонт Иванович для этого выбран правильно: с практическим опытом человека, шедшего снизу вверх, с знанием своей страны, соединенным с недурной осведомленностью в делах Европы, с эрудициею и с талантом образно мыслить и образно говорить — Потугин мог быть противником Герцену, и недаром Герцен в своей критической статье был главным образом по Потугину. Потугин представляет автора в романе, и Потугин создан не обычным тургеневским методом — отправляясь от живого конкретного человека, — а синтетически: свои мысли, свои убеждения Тургенев соединил с умом и опытом человека иной социальной среды, иной психической организации. Тургенев как бы убыстрял свою собственную эволюцию из идеолога дворянского либерализма в идеолога либерализма буржуазного. Потугин не имел живого „прототипа“, кроме личности самого автора.

Основное содержание речей Потугина — защита Запада, его цивилизации, той цивилизации, против которой так едко выступал Герцен.

Отрыв от Запада — утверждает Потугин, — гибельно скандализуется на России: и на ее теоретической мысли, и на ее практике, и на ее искусстве. В теории — кабала у „направлений“, отсутствие широты взгляда, абстрактность мысли, аргументация от общих мест („от яиц Леды; бездоказательно“), вера в „буки“, в грядущее — без веских оснований;

„в наличии ничего нет, и Русь целые десять веков ничего не выдумала ни в управлении, ни в суде, ни даже в ремесле“ (стр. 25).

В практике — бедность материальной жизни, беспомощная зависимость от западной техники, отсутствие всякого права претендовать на какую бы то ни было заслугу в общей борьбе человечества с природой:

„... если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-нибудь народа с лица земли, немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального Дворца всё то, что тот народ выдумал, наша матушка, Русь православная, провалиться могла бы в тар-тары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потребовала бы, родная“ (стр. 76—77).

В искусстве — „пружение“ и „бессилие“, ибо „само даже чувство красоты к поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации“; „так называемое наивное, народное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха“ (стр. 79); русский бедный варварский быт подсказывает художественному сознанию „одно лишь мешковатое ухарство“: „много ли в нем материалов для живописи, для ваяния?“ (стр. 80—81).

Единственное лекарство от этих застарелых болезней — Запад.

Вера в самобытность, вера в силы народные, в то, что они вывезут, — мираж, недомыслие, искривленное представление о движущих пружинах истории:

„... мы — мол, образованные люди, — дрянь; но народ... о! это великий народ. Видите этот армяк? вот откуда всё пойдет. Все другие идолы разрушены; будем же верить в армяк...“ (стр. 25).

А дальше образ: мужик и барин, друг к другу припадающие за исцелением и просвещением, — и ремарка:

„А стояло бы только действительно смириться — не на одних словах — да попризанять у старших братьев, что они придумали, — и лучше нас и прежде нас!“ (стр. 25).

Созонт Иванович явно бьет по „Концам и началам“, по идеям приложенной к ним в отдельном издании старой;

статьи Герцена (1857 г.) — „Еще вариация на старую тему“ и по другим высказываниям Герцена в защиту теории „самобытности“.

Отметим, что удара направо, равного по силе этому удару налево, — у Потугина нет: в монологе XIV главы — мелкие обличения ура-патриотических настроений правого лагеря, наряду с приводившимися ранее разоблачениями представителей демократической мысли:

„... я — западник, я предан Европе, то-есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которой так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации — да, да, это слово еще лучше — и я люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово... и понятно, и чисто, и свято, а другие все — народность там, что ли, слава — кровью пахнут...“ (стр. 27—28).

Автор знает, какое последует возражение против „святого“, „чистого“ и „бескровного слова“: Литвинов „указал на двух проходивших лореток... на игорную залу“; а Герцен, кроме того, указывал на европейский пролетариат, на его детей, обреченных пожизненной каторге, на его дочерей, обреченных фабрике или публичному дому,<sup>1</sup> — и мог бы еще указать на колониальные и полуколониальные народы, подвластные Европе, ее цивилизованным государствам.

„— Да кто ж вам сказал, что и я слеп на это? — подхватил Потугин... Я... — не оптимист, и всё человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете“ (стр. 29).

„Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра“, — мог бы словами Тургенева Герцену ответить Потугин на указующий жест Литвинова.<sup>2</sup>

Либеральная критика и история общественной мысли очень высоко ставила изложенную нами программу Тургенева-Потугина..

<sup>1</sup> „Концы и начала“, Герцен, т. XV, стр. 248.

<sup>2</sup> Тургенев — Герцену, 4 ноября 1862 г. — Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, стр. 170.

„И теперь более, чем когда-либо пригодна формула, указывающая на ци-ви-ли-за-цию“, писал академик Д. Н. Овсяннико-Куликовский, „причем мы еще более «растягиваем» это слово, чем «растянул» Потугин... В возможность привития народу цивилизации верил даже сам Тургенев при всем своем пессимизме; он утверждал, что роль или призвание «образованного класса в России» состоит в том, чтобы «быть преподавателем цивилизации народу»... именно в этом состояла практическая программа Тургенева“.<sup>1</sup>

Однако, из речей Потугина следуют выводы более точные и более конкретные, чем те, какие сделал автор „Истории русской интеллигенции“. Программа Потугина, несомненно, имеет прогрессивную сторону, поскольку она борется с реакционными тенденциями в старом народничестве, борется с теорией национальной исключительности, замыкания народа в стороне от большого тракта общечеловеческой культуры; но в целом борьба Потугина с народнической теорией ведется с позиций буржуазного либерализма, обосновывается теорией пессимизма и игнорирует те „семена с европейских полей“, которые дал 1848 г., из которых вырос I Интернационал и уже тогда вырастало учение Маркса-Энгельса; в целом, следовательно, программа Потугина реакционна; она ниже программы просветителей даже либерально-консервативного типа Скальдина, который видел уже тогда, в конце 60-х гг., оборотную сторону медали в реформе 19 февраля 1861 г.; для Потугина же единственное уязвимое место в реформе — „доморощенный хвостик“, „уступка“ в виде общины: „подите-ка развязжитесь с общим владением“ (стр. 74).

В расстройстве чувств, „потому что охоты жить в нем оставалось мало“, Литвинов под понятие „дыма и пара“ подвел „даже всё то, что проповедывал Потугин“; но, оправившись, принял не за что иное, как за осуществление потугинской программы.

Современная Тургеневу критика, независимо от направлений, в своем бессилии понять и раскрыть образы Литвинова, Потугина и Ирины, оказалась ниже тургеневского творчества и слабее тургеневской мысли. То же нужно сказать и о некото-

<sup>1</sup> Д. Овсяннико-Куликовский. Собр. соч., СПб., 1910, т. I, стр. 7 и сл.

рых критиках позднейших. Цитировавшийся выше Л. В. Пумпянский свое бессилие прикрыл формалистической отпиской о том, что „Дым“ не роман, а повесть, что в центре произведения не герои, а событие; „событие это, само по себе, не решает и не помогает решению какого бы то ни было общего вопроса; оно, быть может, очень значительно, но не проблемно“ — и т. д.

Бессилие идеализма в критической оценке явлений литературы, бескрылость и внеисторичность его построений сказались на всем протяжении литературной жизни тургеневского „Дыма“ — с 1868 года и до наших дней...

Романом „Дым“ Тургенев завершил и свою литературную деятельность 60-х гг. — и завершил, вопреки яростным нападениям реакционной литературы, в лице Достоевского, логически стройно и политически, с своей классовой точки зрения, целесообразно: критикой революционной демократии, противопоставлением ее программе революционного действия либеральной программы „малых дел“, вообще поднятием на щит лозунгов либерализма — он оправдал и защищил тех, кто отходил от революции, ободрил и подтолкнул тех, кто колебался еще, оглядываясь на лагерь недавних друзей и соратников.

„Дым“, — манифест либеральных сторонников прусской системы капиталистического развития России, написанный рукою большого мастера, в ярких образах, в блестящей публицистической оправе доведенный до современной ему читающей публики.

В общем балансе всех элементов романа его объективный смысл следует видеть в его направленности против революционных методов ликвидации полукрепостнического государства, против американского пути капиталистического развития России, т. е. против единственного для этой эпохи прогрессивного общественного движения.

---